

INSPIRIA

Мальинверно

«Я появился на свет в эпоху
экзистенциального кризиса»

Доменико
Дара



INSPIRIA

Доменико Дара

Мальинверно

Серия «Loft. И смех и грех»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69958513
Мальинверно: Эксмо; Москва; 2024
ISBN 978-5-04-195596-0

Аннотация

Есть места, где слова романов и стихов звучат отовсюду, а имена жителей наводят на мысли о героях мировой литературы. Город Тимпамара стал таким местом с тех пор, как много лет назад здесь была построена бумажная фабрика.

В 1960-х годах на городском кладбище обнаруживается безымянная могила, тайну которой суждено открыть хромому библиотекарю и хранителю кладбища Астольфо Мальинверно. Как средневековый монах из романа Умберто Эко, Мальинверно увлечен историями и тайнами Вселенной. Любитель книг с ярким воображением, Астольфо смешивает сюжеты романов с судьбами тимпамарцев – живых и умерших, но больше всего его интригует надгробие без имени и дат с фотографией женщины. Со временем он решает проникнуть в тайну этого лица. Астольфо называет ее Эммой Руо, как героиню «Мадам Бовари» Флобера. Через несколько месяцев он находит цветок перед надгробием Эммы. Что это значит? Цветы продолжают

появляться, пока несколько недель спустя Астольфо не видит женщину, оставляющую другой цветок, и, к удивлению Астольфо, она идентична образу таинственной Эммы...

Содержание

1	6
2	15
3	26
4	35
5	44
6	54
7	63
8	71
9	80
10	92
11	102
12	112
Конец ознакомительного фрагмента.	113

Доменико Дара Мальинверно

Domenico Dara

Malinverno

Copyright © 2020 Domenico Dara

© Лукьянчук В., перевод на русский язык, 2024

© Издание на русском языке, оформление. Издательство
«Эксмо», 2024

* * *

Моей жене Розе

1

Когда я появился на свет, мне было двенадцать лет, пять месяцев и сто шестьдесят четыре часа. Ибо мы не рождаемся в тот миг, когда чья-то незнакомая рука извлекает нас и переносит в бесконечный и загадочный поток истории, а гораздо раньше, когда мысль о нас западает в голову еще нежениху и невесте, когда имя еще несуществующего создания только вырисовывается на туманном горизонте возможной жизни. Мы в большей степени состоим из мыслей, чем из плоти, и мысли эти проникают в нашу кровь из идей того, кто нас задумал, поэтому мы наследуем не только цвет волос, кроткий взгляд или мягкое сердце, но также иллюзии, надежды и разочарования наших предков, которые в свою очередь унаследовали их от еще более древних, через поколения, ведущие свой род от прямоходящего, рудольфского и, наконец, первого человека, поэтому каждый из нас носит в себе как бы всю историю человечества в миниатюре.

Как возможность, гипотеза, замысел я, стало быть, существую ровно с того вечера, когда мой отец подумал, что обзавестись сыном – единственный способ забыть, что сам он им не был. По милости месье Бальзака моя жизнь все чаще стала выступать на первый план среди прочих гипотез. По милости Оноре и Курцио Вербика́ро, лудильщика в четвертом поколении и заядлого театрала, задумавшего тем летом по-

ставить на сцене своего погорелого театра «Папашу Горио» в собственном драматургическом переложении.

Вито сидел во втором ряду возле матери и приходил в волнение, когда старик Горио напыщенно говорил о своей любви к дочерям и, непонятно почему, в каждой сцене обнимал их, проливая слезы.

Вито Мальинверно, мой родитель, об отце мог только мечтать, тот умер, когда он был еще маленьким, и если в мире есть чувство, способное хоть как-то смягчить и исцелить боль безотцовщины, то это – безмерное и безусловное чувство любви отца Горио. И именно в этот момент, прекрасным летним вечером, в то время как парижские колокола звонили по усопшему, в то время как Эжен Растиньяк в черном плаще шел по кладбищу Пер-Лашез, именно в тот миг, как между Тимпамарой и городом Люмьеров умирало неизвестно сколько отцов Горио, я занял свое место в истории человечества.

Церковные часы показывали шесть двадцать шесть, дня тридцатого, месяца ноября, года тысяча девятьсот тридцать пятого, когда я родился, на три недели позже Алена Делона и на день раньше Вуди Аллена, помесью которых я точно не был.

Это было не самое лучшее время для рождения: Италия напала на Эфиопию, за что демоплутократические державы наложили на нее эмбарго. Я появился на свет во время авто-

кратии, в эпоху экономического кризиса, когда плуг вспахивал землю, а сабля его защищала, когда заваривали чай каркаде, носили казеиновые шарфы, дымил бурый уголь, кофе смешивали с цикорием, все разводили кроликов и пристрастились к касторовому маслу.

Я появился на свет в эпоху экзистенциального кризиса.

Короткое время и не в этой жизни я был единственным сыном, родившимся хромым из-за несбалансированного развития организма, ставшего физическим знаком перекошенного времени, в котором жил мир, и слепоты Природы, которая, раздавая охапками жизнь и смерть, изредка ошибалась в выборе.

Мой врожденный порок был замечен не сразу. Взяв меня на руки, едва я вышел из материнской утробы, Вито Мальинверно понял, что не ошибался, что любить мое маленькое тело станет его утешением и что единственный способ, которым люди могут исправить ошибку злосчастной судьбы, — это не дать ей повториться в детях. Понадобилось четырнадцать месяцев, чтобы моя хромота обнаружилась. Пока меня носили на руках, я был такой же, как все: и когда я спал, и когда меня пеленали, и когда ставили на ноги в кроватке, чтобы я попрыгал, я был такой же, как все малыши, живущие на родительских руках, в уравнивающем всех воздухе. Пока не попытался сделать первые шаги, выстраданные и замедленные, точно высадка на Луну.

Попробовал и упал.

Отец на секунду отпускал мои руки, я делал шажок и падал. Шаг – и все насмарку. Так продолжалось несколько дней, после чего меня показали участковому доктору. Тот измерил длину моих ног, как замеряют доски из орехового дерева обычным складным метром, и вынес приговор: разница минимальная, левая короче правой на два сантиметра. Я стал обычным ребенком.

– А исправить можно? – спросил отец.

– Нет, – отрезал доктор.

Вито вернулся домой, как с похорон, прижимая меня к груди еще сильнее, он любил меня еще больше, ибо сейчас его безмерная любовь должна была подрасти еще на два сантиметра и восполнить недостающую плоть, ибо если замечаешь изъян в человеке, которого любишь, то должен помочь от него избавиться, и для этого, видимо, нужна любовь, – чувствовать себя необходимым, быть клеем для треснувшего стекла, заплаткой на рваной одежде, швом на кровоточащей ране.

Меня зовут Астольфо Мальинверно. В любом другом месте на земном шаре такое имя сочли бы причудливым и несуразным; когда такие имена произносят в классе, все прыскают со смеха, а когдаходишь в бар – усмеваются исподтишка. К счастью, я рожден в Тимпамаре, правильном месте, подтверждающем, что если рождаешься здесь, пророчества справедливости непременно сбываются.

Здесь существовала самая старая в Калабрии бумажная

фабрика.

Построена она была в середине девятнадцатого века. Тогдашний управитель финансами провинции Гаэтано Каккури объездил всю местность, вдумчиво все изучил, проанализировал, взвесил и выбрал для строительства фабрики это место, формально – потому что здесь много леса и чистой воды, на самом деле потому, что влюбился в неописуемую красавицу Ката́ру Казабону, ради которой бросил жену и детей. Тем самым счастливая судьба жителей Тимпамары обязана тайным, вкрадчивым ласкам дочери вонючего дубильщика кож и, возможно, в этом тоже осуществлялось странное пророчество.

В начале двадцатого века, когда красота Ката́ры Казабоны угасла, а циклически повторявшиеся вселенские потопа разрушили половину города, управляющий финансами отступился и продал то, что осталось от фабрики, богатому местному промышленнику Саверио Сеттиньяно, решившему официально вложить в нее свои средства, потому что бумажная фабрика была одним из важных ресурсов экономики Калабрии, а на самом деле потому, что влюбился в пышногрудую красотку Анджелику Сарачену, ради округлостей которой бросил детей и жену. Когда об этом стало известно, жены промышленников запретили своим мужьям ездить по нашим местам.

Сеттиньяно, ловкий предприниматель, решил объединить приятное с полезным и расширил фабрику постройкой ком-

бината по переработке макулатуры. За несколько лет от Марины-ди-Амендолара до Мелито-ди-Порто-Сальво¹ Тимпамара стала известна как бумажный город: каждую неделю здесь сгружали сотни килограммов журналов, газет, плакатов, рекламных проспектов, папок, документов, но, самое главное, тысячи и тысячи старых книг, выброшенных за ненадобностью.

Новое предприятие помогло людям выжить, их не засосало в воронку эмиграции, как большинство лучшей молодежи из окрестных городов, бросившей землю, которая от засухи трескалась.

Для этой земли, где испокон веку дубили кожу, переработка макулатуры стала воистину спасением, работа с податливой бумагой исцелила мозолистые руки, обожженные кислотами и огрубевшие от тяжелых скребков для мездры. Даже очерстневшие души людей испытали загадочную метаморфозу.

Все началось с того, что какой-то рабочий, каждый раз перед тем как бросить в бочку с водой очередную порцию утильсырья, стал посматривать, что там написано: может, его заинтересовала фотография в газете или спортивная новость, но времени дочитывать до конца не было, тогда он вырывал страницу и уносил ее с собой, может, и детям ин-

¹ Марина-ди-Амендолара находится на севере Калабрии, Мелито-ди-Порто-Сальво – на юге, расстояние между этими прибрежными городами – 314 км. (Здесь и далее примечания переводчика.)

тересно будет; поэтому макулатурщиков привыкли узнавать по торчавшим из карманов листкам бумаги. Переход от статей к книгам не заставил себя долго ждать и, поскольку выпадали недели, когда тоннами сгружали одни старые книги, то вскоре их расшитые брошюры с перепутанными главами и сборники рассказов без обложек заменили вырванные из газет и журналов статьи. Вечером рабочие возвращались домой и после ужина усаживались на диван, доставали сложенные страницы и читали их или слушали в кругу семьи, распространяя бациллу пристрастия к чтению. Этому способствовал и западный ветер, прилетавший с моря и разносивший листы с грузовиков, из чанов, из груд макулатуры, сваленных на территории предприятия, и носивший по воздуху стаи французских романов, рои сонников, чаек со страницами «Отверженных» на белых крыльях, ласточек, зажавших в клювике приключения Гулливера, и фрагменты «Диалогов» Платона, припорошенных пылью цветущих платанов. В каждом углу Тимпамары, на балконах и подоконниках домов, на скамейках, багажниках автомобилей, на мусорных мешках и даже на дамских шляпках можно было прочесть страницу из романа. Люди поднимали их, пробегали глазами, если не занимало, клали в надежное место – на цветочную клумбу, на ступеньку, придавив камешком, чтобы и другие могли прочесть; а если нравилось, уносили с собой и хранили. Жители Тимпамары читали все и все запоминали словно вопреки судьбе, ждавшей эти книги в цехе перера-

ботки: там они были обречены на смерть, здесь им сохраняли жизнь.

Выходившие в ночную смену, чтобы не уснуть, пока идет вымачивание бумаги, принялись заучивать наизусть целые страницы и потом украшали ими свою речь, встречаясь на городских площадях и в барах, – я свидетель – пересыпали свой крепкий неаполитанский за игрой в дурака стихами из Альфьери: *«Я одержу великую и страшную победу»*, или же, оставшись наедине, поступали так, как Торквато Бонвинчино, цитировавший слова из «Грозового перевала», чтобы выпросить у жены прощения за измену: *«Я думаю только о тебе, постоянно, и если бы весь мир погиб, но ты бы осталась, я бы тоже продолжил жить, но если бы мир остался, а тебя бы не стало, я бы тоже погиб»*.

И даже вопреки их желанию, даже против человеческой воли слова из книг проникали в их плоть наподобие микробов и разносились кровью по всему организму, чтобы засесть потом в голове и при случае быть оттуда извлеченными, так что приезжие поражались, что у нас никто не говорит на диалекте, а только на богатом и возвышенном итальянском языке.

С определенных пор эти истории стали влиять на жизнь новорожденных, когда Рокко Скандале в отместку отцу не назвал только что родившегося у него сына отцовским именем, а дал ему имя Виктор² – так записано и так произ-

² Victor Hugo (франц.) – Виктор Гюго.

носятся.

Жизнь в Тимпамаре протекала следующим образом: когда кому-то удавалось дать пинка ее монотонному однообразию, все следовали его примеру. С тех пор жители города сочли, что вольны покончить с фольклором и традициями и стали давать своим детям имена бумажных героев; в дальнейшем у нас появились свои Марсельпру́, Вольфганги, Вертеры, Демокриты, Проперции, Фьяметты, Ортисы, братья Гаргантюа и Пантагрюэль. Имена выбирались соответственно вкусу, но также в зависимости от того, откуда свозили к нам книги. Когда шел поток грузовиков из закрывшейся музыкальной библиотеки с обилием хранившихся в ней партитур, в Тимпамаре возник бешеный спрос на Валькирий, Брумильд, Армид, Отелло и Дездемон; банкротство издательства географических атласов спровоцировало появление Афин, Женев, Луар, Галиций, Лиссабонов и Братислав.

Поэтому мое имя Астольфо Мальинверно ничем не отличалось от остальных, не считая меня самого; когда в школе Ахиллес Серрасанбру́но в оправдание своей драчливости заявил, что носит имя великого греческого героя, победившего всех врагов, включая хромоногих, я застенчиво, но с твердостью в голосе ответил ему, что в истории есть много героев, выигравших великие битвы и войны, но никто, ни один из них, еще не побывал на Луне.

Я – библиотекарь.

Первый, для точности, в Тимпамаре, и пока что единственный.

Когда все началось, библиотека находилась в центре города, в нижней его части, где пересекались три важные транспортные артерии, напротив церкви Святого Акария, покровителя города, исцеляющего от меланхолии, позаимствованного нами из Нуайона³.

Посмотреть на нее сейчас, так это действительно библиотека с латунной вывеской при входе, книги расставлены по стеллажам, которые просматриваются сквозь стекла балкона, но все было не так, когда я впервые переступил ее порог. Мне было тогда тридцать четыре года. Я вошел в нее вместе с тогдашним советником мэрии, который привел меня туда после того, как увидел, что я читаю «Письма к Аттику» в скобяной лавке дяди, где я работал по окончании школы. Он купил четырнадцать восьмимиллиметровых болтов общим весом сто двадцать семь граммов, ровно столько, сколько требовалось, чтобы выправить мою колченогую судьбу.

– Ты любишь читать? – спросил он меня с ходу.

Через неделю он вернулся и принес собой какие-то бума-

³ Нуайон – город на севере Франции. Святой Акарий (ум. ок. 640) был епископом Нуайона и Турне.

ги: «Оторвись на пять минут и заполни эти документы».

Пока я занимался делом, он объяснил моему дяде, что в голову мэра засела мысль открыть библиотеку, поэтому они искали подходящего человека, и что, возможно, им мог оказаться я, поскольку закон предписывает представлять в первую очередь работу таким, как я, людям с физическим недостатком.

Через месяц я был зачислен служащим мэрии шестого разряда в должности библиотекаря, двадцать четыре рабочих часа в неделю с соответствующим окладом и специальными льготами, полагававшимися мне по закону.

До сих пор помню отвратительный запах плесени, устоявшийся в этом месте, когда я впервые туда ступил.

Хаос, который я там обнаружил, мог бы обескуражить любого, но не меня. Меня он порадовал и вдохновил: это было наилучшее условие, чтобы все устроить по собственному вкусу. Я принялся за уборку помещений: две комнаты на первом этаже и одна на втором, стер пыль со стеллажей и выбросил ненужные вещи.

Через неделю пришли двое рабочих, отодрали старую штукатурку, нанесли новую, все покрасили. Я воспользовался их присутствием и с их помощью перетащил из подвала двадцать одну коробку с книгами.

Сплошь неизвестные названия и имена авторов. Я аккуратно брал каждую книгу, стирал с нее пыль, большим пальцем быстро пролистывал страницы, читал аннотацию в кон-

це книги, в некоторых просматривал даже оглавление и относил на отведенное ей место во вселенском устройстве.

Напоследок я открыл коробку, простоявшую все эти годы впритык к влажной стене и распадавшуюся на части. Внутри лежали пожелтевшие книги со слипшимися страницами, от которых обложки отваливались, как старая штукатурка от стен, они напоминали мне смертельно больные тела. Я выстроил их поштучно на отдельной полке наподобие выставленных в тире галет с вышедшим сроком годности, по которым можно стрелять, в надежде, что воздух и кислород, близость соседей по несчастью и уход замедлят распад волокнистых бумажных тканей.

Спустя месяц с большой помпой была открыта городская библиотека Тимпамары – выступление мэра, духовой оркестр и прохладительные напитки.

С того времени мой рабочий день в библиотеке остается неизменным: в полдень, пообедав, я прохожу семьсот сорок шесть метров, отделяющих мой дом от библиотеки. Согласно договору я работаю с понедельника по субботу с четырнадцати до восемнадцати, но я всегда закрываюсь позже: дома меня никто не ждет, и я частенько засиживаюсь допоздна и даже пропускаю ужин. Будь по-моему, я бы даже поселился среди книг: при входе в библиотеку у меня возникает чувство, что я перестаю хромать, это не так, но у меня такое чувство, как если бы там не существовало ни хромоногих, ни быстроногих, ни расстояний, которые надо пройти, ни вре-

мении, когда нельзя опоздать, а все и вся уравнены в слове. Для меня это больше, чем укрытие, для меня это – нора, материнская утроба. Здесь я не чувствую себя столь одиноким, а одиночество я умею измерять.

В большинстве соседних городов, как положено по закону, тоже имеются библиотеки. Размещаются они во дворцах с лепными фризами и гербами бывших владельцев, но стоят закрытыми неделями, месяцами, а иногда и годами, стареют и рассыпаются, как винные бочки, не понадобившиеся виноделу. Там нет библиотекаря, а ключи хранятся у секретаря мэрии или у оператора телефонной станции. Возможно, в самой глубине их запыленных полок таятся книжные раритеты, но в основном это непригодные для чтения книги, расставленные там как будто для декора.

А в Тимпамаре библиотека живет и дышит как человеческое тело. Каждый день кто-нибудь заходит, даже из приезжих, взять или сдать книжки, почитать свежие газеты и еженедельники либо просто посидеть и поговорить в зале на первом этаже. Особенно, когда стоит хорошая погода и я держу распахнутой настежь дверь.

Меня всегда дразнили Хромым. Достаточно было произнести в Тимпамаре это слово, как все сразу же думали об Астольфо Мальинверно, сыне Вито и Катэны Семинары, женщины с большим воображением. Сейчас меня так не называют, кроме злоязыких и тех, кто вставляет палки в колеса, все обращаются ко мне «господин библиотекарь», или же когда

приходят сдать книги и хотят попросить совета, то говорят «простите, ради бога, вы не окажете любезность», – слова, которых мои уши отродясь не слыхали.

Я делаю все то, что делают все библиотекари в мире: слежу за новыми публикациями, составляю списки книг для закупки, занимаюсь их каталогизацией, слежу за их состоянием, даю советы, что стоит почитать по той или иной теме, собираю и сортирую по датам газеты и журналы.

И все же существует обязанность, которая закреплена только за библиотекарями Тимпамары, то есть за мной: время от времени навещать перерабатывающий комбинат, чтобы в тамошней свалке отыскать еще пригодные к употреблению книги и снова запустить их в обиход. Существует устная договоренность между мэром и владельцами производства, вследствие чего пару раз в месяц, по пятницам, я могу беспрепятственно рыться в завалах макулатуры и уносить с собою все, что еще может пригодиться.

Это были единственные минуты, когда, благодаря чтению, исчезало монотонное прозябание, я погружался в неведомые, невообразимые миры и читал необычные, незаурядные истории, не подозревая, что одиннадцать лет спустя одну из них мне доведется прожить.

В тот день после обеда – как сейчас помню, было четыре – я заказывал по телефону свежие газеты, когда из мэрии прибыл посыльный и вручил мне письмо:

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ

ПОВЕСТКА ДНЯ: Внутриведомственные кадровые вопросы в связи с неотложной служебной необходимостью.

В СВЯЗИ с досрочным выходом на пенсию по причине несчастного случая ныне действующего кладбищенского сторожа Грациано Меликукка, городское кладбище, как установлено заведующим сектором, нуждается в срочной кадровой замене сотрудника для ведения Учетной книги умерших, которое не может быть поручено даже временно вышестоящему должностному лицу той же категории служащих;

С УЧЕТОМ роста процента смертности и возрастающей необходимости в предоставлении населению полного набора кладбищенских услуг;

В СВЯЗИ с необходимостью срочного ремонта кладбищенских стен и приведения в порядок городского кладбища

РЕШЕНО, что высокоуважаемый господин Мальинверно незамедлительно, начиная с сегодняшнего дня, приступает к работе на вышеназванном кладбище для ведения Учетной книги на предусмотренный для этих целей период. За ним также сохраняется должность городского библиотекаря .

Я в ту же секунду подумал, что это – ошибка, однако нет, на конверте было написано имя адресата «Астольфо

Мальинверно» даже без приписки «библиотекарю», которая мне льстила, а с уточнением «служащему мэрии» и указанием ненавистного мне самого низкого чина. Я сел, потому что у меня закружилась голова.

Так в одночасье меняется жизнь: неважно, идешь ли ты спать, ужинаешь или перекладываешь книги. Перемены всегда неожиданны, и, возможно, их внезапность тоже не самое худшее, они сберегают время, которое ушло бы на раздумья, избавляют от бессонных ночей, от неуловимой дрожи в теле как во время первого летнего купания, когда сперва прикасаешься ступней к воде, потом заходишь по щиколотки, потом плещешь на спину, мочишь затылок, брызгаешь в лицо в расчете, что будет не так холодно, когда окунешься, хотя на самом деле только продлеваешь ощущение холода.

Сидя на стуле с листком в руке, я выходил из ледяной воды. Осмотрелся вокруг, все показалось мне чужим, и тогда, сделав нечеловеческое усилие, я поднялся и отправился в мэрию за разъяснениями.

У мэра я ждал без малого полчаса.

– Рад вас видеть, Мальинверно, я ждал вашего визита, присаживайтесь.

– Значит, я понял все правильно, это – не ошибка...

– Вы же знаете, что случилось с несчастным Грациано – полез на грушу и сломал позвоночник, а мы не можем обойтись без кладбищенского сторожа! Там работа как на конвейере. Я сразу же подумал о вас, Мальинверно, вы мне ка-

жетесь наиболее подходящей кандидатурой для этой должности!

– Ну а библиотека...

– Оглянитесь вокруг и посмотрите, – перебил он меня, – в отделах от работы все уже загнулись, вынуждены брать сверхурочные, а вы открываете библиотеку только в полдень, всего на четыре часа в день, вы подумайте сами – четыре часа в день, половина рабочего времени любого городского служащего. Я знаю, у вас много работы, Тимпамара – у нас город бумаги, тут все читают и перечитывают. Вы можете меня спросить – почему не назначить посыльного? Но помилуйте, человек перенес четыре инфаркта, и было бы не очень тактично с моей стороны посылать его на эту работу. Короче, Астольфо, вы такой же служащий, как и все, ни больше ни меньше, хоть одна нога у вас и короче, подумаешь, ну и что? Мы разве не хотим продемонстрировать, что вы – лучший из всех? Ваша зарплата, разумеется, будет увеличена соответственно количеству часов. Считайте, что это повышение по службе.

– Ну, а как же библиотека...

– Вас оттуда никто не гонит. Еще чего! Культура у нас на первом месте. Утром в восемь вы открываете кладбище, работаете там, прибираетесь... сами разберетесь, что делать, а в два тридцать, после обеда и короткого отдыха отправляетесь в библиотеку, к любимым книгам, и работаете там до шести, потом закрываете библиотеку и после нее – клад-

бище. Чего вам больше? По-вашему, это не превосходная мысль? Конечно, вы вправе отказаться, но подумайте сами, кто вам даст дополнительную работу с вашей проблемой? Поверьте мне, все гораздо проще, чем вам кажется, пока еще ни один кладбищенский сторож не скончался от переутомления. Приступайте завтра, сегодня зачураемся – тьфу-тьфу – кажется, никто не умер. Ступайте, Мальинверно. Да, зайдите к заведующему коммунальным отделом, он растолкует подробнее.

Мэр деликатно выставил меня за дверь, я стоял с письмом в руке и не понимал, что делать.

Через несколько минут из дверей его кабинета выглянул секретарь и, увидев меня, говорит: «Мальинверно, заведомо вышел и оставил для вас конверт. Поздравляю с новым назначением, не сомневаюсь, что вы справитесь».

Сказал и исчез, как будто меня там не было.

Так быстро, насколько позволяла моя левая нога, я устремился к выходу, мне не хватало здесь воздуха. Возвращаться в библиотеку и спускаться по склону холма совсем не хотелось, я отправился в Мисконь, пустырь на окраине города, посидеть там в тени дикой яблони и подумать о странностях жизни, о том, что если жизнь Жана Вальжана зависела от куска хлеба и серебряного подсвечника, а Акакия Акакиевича Башмачкина от шинели, а любовь Эвариста и Кандии от веера, то мою судьбу решила груша.

Я открыл конверт. Там лежала толстая связка ключей,

расписание работы кладбища и нетронутая копия «Положения о порядке эксплуатации и содержания кладбища на территории города». Читать его не хотелось. Претила не мысль о назначенной мне должности – работать сторожем на кладбище было для меня равносильно тому же, что сидеть в техническом бюро или отделе записи актов гражданского состояния, я боялся нарушить размеренность собственной жизни.

Я никогда не умел справляться с переменами, они меня пугали, поэтому я прибег к единственному известному мне способу бегства: достал из кармана томик «Мадам Бовари» и в ту же секунду покинул враждебные пределы Тимпамары и очутился в неподвижных и сонных землях Йонвиль-л'Аббе. Это чтение повторялось по кругу в течение всей моей жизни, каждый раз, когда я нуждался в утешении, когда ощущал необходимость залечь на дно и растворить свою тоску во всеобщей мировой тоске и почувствовать себя частицей страдающего и живущего в иллюзиях человечества.

Весь остаток дня я был возбужден, вечером не мог заснуть: до начала моей новой службы оставалось десять часов, а я не имел представления, с чего начинать. Ну, я открою ворота, а потом? Что в точности должен делать кладбищенский сторож? Присутствовать на похоронах? Или, может, даже ямы копать? Нехотя я открыл «Положение»; на сердце было тяжело, как у Шарля Бовари, когда его ревнивая супруга Элоиза запретила ему ездить на ферму Бертó, в дом

красавицы Эммы.

Я стоял у кладбищенских ворот без пяти восемь. Никого не было. Стал ждать. Две вдовы, Лонгобарди и Пентоне, ждали, как и я, у запертых ворот. Через четверть часа явился заводителем на пару с муниципальным клерком Корнелием Бенестаре.

– Ну вот, Мальинверно, настал час вашего боевого крещения. Дайте мне, пожалуйста, ключи.

Я передал ему связку из двадцати двух ключей, Бенестаре сразу же нашел нужный и отпер ворота. Старухи вошли вслед за мной, не спускали с меня глаз и о чем-то шептались.

– Что ни говори, а хотя бы минимальная передача полномочий все же необходима, но в отсутствие несчастного Грациано и его бесценных советов положимся на опыт Корнелия, который его заменял в случае болезни и на время отпуска. Слушайте его внимательно, у меня, к сожалению, важное совещание, я должен бежать.

У Корнелия из технического бюро работы невпроворот. Он тоже торопился.

– Прочитал «Положение»?

– Да.

– Прекрасно. А теперь забудь, иначе свихнешься. Идем.

Слева от входа расположена покойницкая комната, ее почти целиком занимает железный стол, стоящий по центру.

В глубине, на стене, висит полка с какими-то предметами. Справа, наполовину скрытые створкой двери, стоят столик и стул.

– На железный стол ставят перед погребением гроб. Окна, – заметил он, – независимо от времени года должны быть распахнуты для проветривания, иначе стоит трупному запаху вьестся в одежду, от него не избавишься никогда. Здесь, – показал он на вмурованную в стену коробку, – выключатель сирены, которую ты подаешь минут за десять до закрытия кладбища. – Мы вышли. – Вместо сирены можешь давать сигнал о закрытии этим колоколом, – сказал он и с силой дернул за веревку, привязанную к колокольному языку.

Другим ключом Корнелий открыл просторное подсобное помещение, обшитое кровельной жстью, которое использовали для хранения инвентаря: лопаты, мотыги, лейки, шланги для воды, сваленные как попало, словно здесь пронесся ураган.

– Тут найдешь все, что надо для прочистки дорожек и поливки клумб. Сторож на кладбище прежде всего садовник. Ты в садоводстве разбираешься?

– Нет.

– Плохо. Придется овладеть. Обрезай сухие ветки, поливай цветы, а когда на дорожках валяются увядшие букеты, выбрасывай их. Не советую трогать цветы в вазах на могилах, даже если ветер разносит запах гнили, это не к добру. Ты суеверный?

– Нет.

– Придется стать, коль скоро работаешь в этом месте. Я имею в виду не проходить под лестницей, переходить на другую сторону улицы, если дорогу перебежала черная кошка... Полные лейки должны стоять слева от входа, раз в день проверяй бачки, если скопился мусор, опустошай их в контейнер на улице. По сути, работы немного, если нет похорон, но не обольщайся, здесь постоянно кто-то умирает. И последнее. Когда уходишь, проверяй, закрыт ли замок. Подергай для верности. Не знаю для чего, но кладбище должно быть заперто ночью. А сейчас самое главное.

Бенестаре вернулся к покойницкой. Мы вошли, он указал на столик за дверью. Вытащил из центрального ящика большую книгу, наминавшую гроссбух.

– Это самое важное. Регистрация покойников. Можешь забыть все, но только не это. Здесь ты записываешь покойников, непременно всех до одного, потому что если не записать здесь имя, то человек как будто не умер. Записывай все, как видишь: порядковый номер, фамилия, имя, дата рождения и дата смерти. Порядковые номера в конце года обнуляются. Все ясно?

– Все, что вы сказали, да. Вопрос в том, чего вы не сказали.

– Во всем остальном потихоньку сам разберешься. Вот тебе ключи. Если возникнут вопросы, заходи в мэрию, во всем остальном руководствуйся здравым смыслом и полагайся на

опыт могильщика Марфарб.

Когда Корнелий ушел, оставив меня со связкой ключей, я почувствовал себя сиротой. Оглянулся вокруг в поисках чего-нибудь отвлекающего от остроты одиночества, и мой взгляд натолкнулся на полку, висевшую в глубине покойницкой. По углам царил беспорядок, а вот предметы на полке, покрывшиеся пылью, были аккуратно расставлены чьей-то заботливой рукой: песочные часы, старый кассетник, белое перо, складное зеркальце и френологический макет головы. Предметы стояли, как книги у меня в библиотеке, но по методу каталогизации, который был мне непонятен. Я поискал тряпку, ничего не нашел, вынул из кармана носовой платок и стал протирать френологическую голову, самый необычный предмет, репродукция черепа, на котором указаны области мозга, отвечающие за те или иные сенсорные функции. Макет был легкий, блестящий, из фарфора с кракелюрами, типичного для Стаффордшира. На черепе прорисованы геометрические фигуры неправильной формы. Внутри шли надписи, указывавшие на те области мозга, в которых зарождалась соответствующая эмоция, чувство, дар или его отсутствие: над левым ухом, например, размещались наши разрушительные свойства, соседствующие почему-то с тягой к алкоголю; над левым глазом — языковые способности, под которыми располагались любовь к порядку и чувство цвета, а вся область, окружавшая правый глаза, посвящена была литературе. В каждой части головы были отмечены точки, в

которых любой миг нашей жизни был как бы предуготовлен, все упорядочено, как на шахматной доске, а там, где этой точки не оказалось, кто-то от руки приписал: *безумие*. Сзади, чуть выше затылка, по линии шейных позвонков, размещалось смирение, чуть ниже – разновидности любви: родовой, репродуктивной, сыновней, животной, с которыми соседствовала любовь к родине.

Я вернул френологическую голову на полку и, восстанавливая прежний порядок, продолжал рассматривать причудливость ее комбинаций – микрокарту миропорядка, и вдруг, глядя на соседство в левой височной области бессознательного с чувством долга, меня осенило, и единственная, четкая и пронзительная мысль расположилась по центру двух моих полушарий: бесполезно плакать, страдать, отчаиваться, с сегодняшнего дня я кладбищенский сторож, и если я им должен быть, то должен быть самым лучшим – в ближайшем будущем я не видел альтернатив.

Это был миг осознания и мужества, которые зачастую суть одно и то же, судя по их сопредельности в самом центре френологической головы.

Я взял стоявшую в углу метлу, стал выметать покойницкую, выбрасывал все ненужное, что накопилось при моем предшественнике. Через полчаса помещение было на себя не похоже, я остался доволен своей работой. Вышел оттуда. Хотелось обследовать каждую пядь кладбища, как когда-то было с библиотекой, ибо приводить в порядок окружающий

мир придавало мне чувство уверенности.

До того дня кладбище означало для меня сто тридцать шесть шагов – расстояние между входом и семейным захоронением. Не знаю, какому количеству нормальных шагов соответствуют мои сто тридцать шесть шаркающих. С четырнадцати лет я стал приходить на кладбище раз в месяц. Я прислонялся к столбику ворот, выпрямлял ноги и начинал оттуда отсчет. Сто тридцать шесть шагов, один и тот же маршрут, тринадцать раз в год, с учетом дня поминовения. Шаги соответствовали точному времени: восемь минут тридцать три секунды; помноженные на тринадцать они давали час сорок восемь минут и двадцать две секунды. Время моего годового пребывания на кладбище до того, как я стал его хранителем.

Я сделал замеры моего нового пространства, обойдя по периметру кладбища, и вернулся в отправную точку.

В покойницкой открыл журнал, который Корнелий оставил на столике. Пробежался по именам, страница за страницей. Они произвели на меня то же впечатление, которое я испытал в церкви, стоя возле яслей Христовых и глядя на поднесенные Ему в обет фотографии солдат, ушедших на войну: исчезнувшее человечество, не оставившее после себя и следа. В центральном ящике столика я обнаружил бумажный свиток. Развернул. Это был план кладбища, со всеми пронумерованными могилами и буквенными обозначениями секторов. На миг мне показалось, что тут воспроизводилась схе-

ма френологической головы – подтверждение того, что все на свете – мысли, чувства и даже покойники – находят свое правильное расположение во Вселенной.

И я, Астольфо Мальинверно, единственный в мире библиотекарь и кладбищенский сторож, тоже.

А еще через два дня я ее впервые увидел.

Издалека до центра. Таков был всегда мой метод постижения предметного мира: начинаешь с границы и следуешь кругами до воображаемого центра. Примерно так же происходит и с людьми: сперва смотришь в глаза, потом рассматриваешь руки, походку, а потом постепенно, раз за разом проникаешь под кожу, добираешься до извилин мозга и узнаешь его мысли. Миропорядок следует соблюдать.

Убедившись в том, что знаю кладбище по периметру в каждой его трещине и кустике травы и даже могу предугадать его ежедневные изменения, я углубился в чащобу могил.

Дул сильный ветер, надо было расчистить дорожки: я собрал два огромных мешка мокрых листьев. Тащить их было нелегко, я на каждом шагу останавливался, чтобы дать передохнуть ноге. Во время одной из таких остановок, пока я отмечал свое местонахождение в мире лужицами воды, вытекавшей через мешковину, она мне явилась.

Раньше я ее не видел, она скрывалась за углом чьего-то семейного склепа.

Глаза ее были прекрасны, темные, почти черные в тени бровей, взгляд искренний и невинно дерзкий; губы пухлые, местами потрескавшиеся, как будто их часто закусывали. Шею обрамлял белый отложной воротничок, черные волосы, разделенные на прямой пробор, были гладко зачесаны назад и казались двумя металлическими отливками. Слегка волнистые на висках, они прикрывали часть уха и собирались в тяжелый узел на затылке. Две яркие сережки с подвесками проглядывали сквозь свисающие локоны. Я подошел поближе. Черно-голубые глаза, словно две наложенные слоями краски; более темные внизу, они светлели, приближаясь к глянцевой поверхности фотобумаги.

Фотография располагалась по центру могильного памятника.

Вокруг ничего, не считая раскрошившегося цемента.

Ни имени, ни даты рождения, ни смерти.

Я почувствовал, что от этой фотографии веет осенней грустью – грустью увядающего мира, сожалением о несостоявшейся жизни, о неосуществившихся мечтах. Снимок старый, непонятно какого времени, но лицо тем не менее было настолько четким, притягательным и так засело в моих извилинах, что когда я вернулся к своему любимому чтению, мне достаточно было погрузиться в безутешную печаль его страниц, чтобы немедленно в чертах незнакомки увидеть характер героини Флобера. С тех пор у мадам Бовари было это лицо с могильной фотографии и родственная душа челове-

ка, рожденного для небес, но обреченного покоиться в земле; хромая, наверное, была душа, сродни моей телесной хромоте.

Поэтому я назвал ее дорогим мне именем: Эмма Руо, захороненная на кладбище в Тимпамаре.

Дикеарх совершил великое открытие, представив пролетающие, невидимые глазу линии, перпендикулярно друг другу пересекающие земной шар и определяющие на нем любую точку незыблемостью ее координат. Подолгу рассматривая в географических атласах, как параллели и меридианы обволакивают, словно паутиной, моря и континенты, я время от времени задирал голову вверх, чтобы убедиться: правда ли, что эти воображаемые линии так же видны, как, например, белый дым самолетов или следы перелетных птиц, и что стремление определить точное месторасположение является открытием, а не выдумкой. Мне казалось, я ощущаю их над собой, когда, преодолевая пространство и время своих будничных дней – от дома до кладбища, от кладбища до библиотеки, – я утешал себя мыслью, что каждый мой шаг имеет точное местоположение в мире, что кратковременные остановки из-за дефекта ноги происходили внутри земного квадрата, уже предусмотренного и описанного людьми, как если бы правильное расположение автоматически заключало в себе какой-то смысл. То же самое происходило в моей библиотеке. Книги, написанные и напечатанные в разных частях земли, в давние времена, сейчас соседствовали друг с другом на деревянных полках согласно предусмотренному порядку. То же самое на кладбище: последовательность захороне-

ний приводила к забавному соседству двух непримиримых при жизни врагов под одной и той же тенью сосны или к совершенно противоположному: муж и жена, прожившие вместе всю жизнь, оказывались похороненными по разные стороны как два порознь высаженных цветка. И все же что-то в этих буквенно-цифровых квадратах время от времени со-скакивало с петель.

Взять, к примеру, могилу красавицы Эммы.

Я сразу же достал кладбищенскую карту в уверенности, что через ее расположение узнаю ее личные данные, но на месте ее могилы вместо номера, проставленного на остальных, красовался чистый квадратик, указывавший, что это место будет занято. Отсутствие номера меня озадачило, словно и на бумаге была предусмотрена та же анонимность, что и на памятнике, будто мир всячески старался скрыть ото всех имя этой красавицы. Но она-то была. Пустой квадратик предполагал возможность, наподобие пробелов, оставленных Менделеевым в первых набросках его Периодической таблицы для не открытых еще элементов; они существовали в природе, но дожидались часа своего открытия. Анонимность придавала Эмме еще большего очарования.

Я оставил след своего видения, как всякий уважающий себя свидетель, и пронумеровал пустой квадратик цифрой 1543, причитавшейся ему в порядке возрастания номеров; я записал его также в итоговом списке в конце Книги на шестнадцатой строке: *1543 Эмма Рюо* и на минуту предста-

вил себя рисовальщиком параллелей и меридианов, распределяющим местоположение в мире, хранителем блуждающих душ.

От этого можно было оттолкнуться. Имя. Точное место в мире. Одиночество становилось более-менее терпимым. Чтобы побыть в ее компании, я, когда мог, навещал ее, смотрел на фотографию, как рассматриваешь картину или созерцаешь закат. Когда появлялось время, я садился на колченогий стул, который приволок к могиле, и читал ей вслух страницы ее романа, как будто она могла меня услышать. Она стала близким мне человеком, ее присутствием были заполнены мои дни, и не только на кладбище; мысли о ней, ее забытая история были со мной повсюду – дома, в библиотеке, в баре, куда я изредка заходил.

Забычивость как следствие навязчивых мыслей внедрилась в механизм моих будней и тормозила его: я варил яйцо, пока оно не лопалось в кастрюльке, забывал запереть дверь и не явился на примерку к сапожнику, шившему мне на заказ новую пару обуви.

Бывало, по утрам мне так хотелось ее увидеть, что, едва отперев ворота кладбища, я устремлялся к ее могиле, словно боялся, что за ночь она могла исчезнуть. И как всякий уважающий себя хранитель душ, постарался украсить этот кладбищенский уголок, посадив на ее могиле росток плюща и направив его так, чтобы он обвился вокруг памятника. Но растительное обрамление несколько не изменило ее

лица, оно по-прежнему оставалось бледным, и в глазах пряталась та же тайная грусть, что была моей неизменной подругой детства и сгущалась в потерявшем надежду взгляде единственной женщины, которую я до тех пор любил, Катены Семинары, моей матери, которой нет уже в царстве живых.

Она умерла ночью, во сне. Мне было двенадцать. Уснула и не проснулась. Рядом со мной.

Жизнь тянула жребий, он выпал не ей.

Два человека, уснувшие рядом, закрывшие в одну и ту же минуту глаза; сон их разъединил, и только один из двоих их снова откроет, другой не откроет их никогда; как если бы смерть одного брала себе, а другого честно оставляла жизни. Накануне вечером ничто не предвещало такой исход — ни перебои в работе сердца, ни отяжелевшее тело, ни одышка. Обычное «спокойной ночи», поцелуй в лоб, одеяло, натянутое до подбородка; одной рукой мама меня обнимала — оберегала, защищала.

Никто точно не знает, в котором часу остановилось ее сердце, что мне снилось в это время, в какой черед небесных и вселенских движений был предусмотрен ее уход.

Я спал с мамой каждый раз, когда папа работал в ночную смену на нашем перерабатывающем комбинате. Я ни разу не просыпался раньше нее. Поэтому, едва открыв глаза, я понял, что происходит что-то не то: мамина рука тяжело об-

нимала меня. Мама, мама. Я с трудом высвободился из ее объятия и наклонился к лицу. Мама, мама. Стал ее будить, теревить все сильнее, осмелился даже легонько ударить по щеке, а потом дрожащими пальцами раздвинул веки. Мама, мама. Я приник головой к ее груди, чтобы послушать, как бьется сердце. Обнимая ее, я закрыл глаза и подумал: сейчас забьется. Еще чуть-чуть.

Точь-в-точь так же, как когда я впервые громко услышал, как бьется мамино сердце. Я был маленький; в темноте, усиливающей звуки, я был окутан равномерностью биения сердца, звучание было слабое, словно угасающее эхо, удар, потом молчание, снова удар и снова молчание, которое меня пугало, и я мучительно ждал, стукнет оно сейчас или же нет, и когда мне казалось, что тишина продолжается дольше положенного, я ворочал маму, как сломанную куклу, но когда биение возобновлялось, страх никуда не уходил, он лишь повисал в воздухе: за каждым ударом следовала тишина, а тишина казалась бесконечной, и я никак не мог уразуметь, как человеческое тело, жизнь, состоящая из действий, слов, мыслей, выстроенных домов, библиотек с миллионами книг, межпланетных завоеваний, как человечество от начала и до сегодняшнего, до завтрашнего дня может зависеть от такой слабенькой с виду мышцы.

Все это промелькнуло у меня в голове в тот миг, когда остановка уже вписалась в бесконечное вращение светил. Это была смерть, я настолько хорошо представлял и боялся

ее, что когда она наступила, то показалась мне почти нормальной; я так боялся остановки маминого сердца и боли ее утраты, я столько раз плакал, представляя ее мертвой и себя, сидящим рядом с ее остывшим телом, что сейчас я как будто был к ней готов, натаскан, натренирован, как если бы ее кончина входила в программу моих тренировок по ее отсутствию и одиночеству.

Уже никогда не пошевелится тело Катены Семинары. Никогда. И тогда в слезах я отошел от нее, сел на стул напротив и не отрываясь смотрел на нее – она казалась спящей красавицей, которую я больше никогда не увижу.

Каждый раз, когда я навещал ее в нашем семейном склепе в сопровождении папы или дяди, а потом один, я каждый раз, войдя, первым делом целовал ее фотографию, прикладывал ухо к мрамору в ожидании, что сердце ее забьется, сейчас, еще чуть-чуть...

Моя мать проживала истории, которые читала, и будь у нее образование, говорила она, она бы сама писала книжки, но так как она не знала, как это делается, свои книги с юности она писала в голове, благо персонажей не надо было искать, они ее окружали: все местные жители, с которыми она пересекалась, каждого она наделяла тайной историей, жизнь была прекрасной, поскольку и сама Катена оказывалась в числе своих персонажей. Мы в большей степени состоим из мыслей, чем из плоти, и мысли эти проникают в

нашу кровь из идей того, кто нас задумал, ибо я унаследовал не только цвет волос, кроткий взгляд или мягкое сердце, но также иллюзии, надежды и безмерную любовь к книгам.

У мамы была своя история о каждом знакомом или незнакомом человеке, о каждом пересекшемся с ней мужчине или женщине, о любом, о ком говорили, о каждом соседе, о каждом бьющемся сердце и даже об уличных животных, о любом предмете, к которому она слегка прикасалась, о подобранном камне, о выброшенном пакете молока, обо всем на свете. В том числе о Панкратио Каланна, жившем через два дома от нас: тот возвращался домой всегда поздно, мы были уже в постели и слышали, как он вставляет ключ в замок и осторожно прикрывает за собой скрипящую дверь.

– А ты знаешь, почему он так поздно возвращается? – спросила меня мама однажды вечером.

Вопрос предвещал одну из ее историй.

– Панкратио на самом деле рыбак, днями плавает в своей лодке по заливу. Но рыбу не ловит. Он ищет ожерелье, которое его дочь уронила в воду за год до смерти. С тех пор он каждый день закидывает сети в надежде выудить его. И пока мы будем слышать повороты его ключа, значит, сеть оказалась пуста.

Этот человек, которого я несколько раз видел днем, казался мне кем угодно, но только не рыбаком.

– Ты точно знаешь, что Панкратио – рыбак?

– Мы сами решаем, что правда, а что нет, только мы сами.

Всмотрись в него следующий раз, когда встретишь на улице, и если подумаешь, что он рыбак, то рыбаком он и окажется. Всегда, Астольфо, внимательно рассматривай людей, наблюдай за ними, подмечай детали, потому что ни один из нас не носит на лице отпечаток своей истории, мы тщательно скрываем ее в невидимых уголках нашей внешности.

Примерно через месяц после нашего разговора ночью слышим с улицы крики – Панкратио Каланну нашли мертвым.

В последнее время мы не слышали, что он вставляет ключ в замочную скважину. Он исчез. В тот день волны выбросили его тело на пляже Пьетрагранде.

Катена взяла меня с собой на ночное бдение по покойнику. Было почти уже утро, когда мы вернулись домой.

Мама подошла, когда я уже засыпал.

– Видел Панкратио?

– Да.

– И что ты заметил?

Лица его я не видел, видел только вспухшее тело, лежавшее на кровати, обряженное в костюм, но без ботинок.

– Он был босиком.

– Не только, – сказала мама, погасив мой ночник. – Правая рука была сжата в кулак.

У меня не было сил спросить у нее, почему.

– Вот видишь, Астольфо, под конец он добился своего, выудил ожерелье.

Благодаря историям моей матери, которая рассказывала их и оживляла мир, как будто мир состоял только из слов, я научился жизни и приобрел любовь к рассказам, ибо с детства понял, что люди и книги рассказывают по сути одинаковые истории.

После долгих раздумий и колебаний новая должность хранителя кладбища не вызвала предполагавшихся драм, напротив, через пару недель обе работы сжились душа в душу, чего нельзя было ожидать.

В восемь утра я приходил на кладбище и последующие четыре часа был волен делать, что захочется.

Когда соборный колокол бил полдень, я уходил домой, мылся, переодевался, что-нибудь перекусывал, часик отдыхал, сидя в кресле, потом шел открывать библиотеку, ровно в два тридцать.

Там я оставался до шести, когда наступала пора закрывать кладбище. Если оставалась незаконченная работа, я возвращался в библиотеку, а если нет, то шел домой.

Два противоположных и, казалось бы, несовместимых мира нашли точку схождения во мне. Несовместимы они были, конечно, для жителей Тимпамары, которые первое время высказывали свою озабоченность.

– Астольфо, ты правда стал кладбищенским сторожем? – спросил меня в первый день новой работы бармен Агаменон, пока варил мне кофе.

– Это временная работа, – сказал я. В ту минуту я был заодно с людскими предрассудками по части кладбищенских сторожей.

– Как же ты теперь будешь переходить от книг к покойникам?

– Могли бы дать мне это место, – буркнул Годб, искавший работу с пеленок.

Злоречия было немало, его можно суммировать в красноречивом жесте от сглаза, который сделал Вагнер, когда увидел, что я выхожу из бара и перехожу через улицу: он схватился за свои яйца и сжал их так, будто собирался доить корову. Но при всем том для жителей Тимпамары я оставался библиотекарем, даже когда они видели, что я запираю кладбище.

Размеренность моей жизни, поделенной между кладбищем и библиотекой, нарушалась, когда кто-нибудь умирал.

В силу давно заведенного обычая похороны устраивались после полудня, и я, чтобы проводить покойника на вечное местожительство, должен был забрасывать книги. Когда в библиотеке не было читателей, вопрос решался просто, в противном случае я был вынужден вежливо выставить посетителя и обычно разрешал ему взять книгу с собой, хотя выдавать ее на дом не разрешалось. Потом закрывал библиотеку и вывешивал табличку:

«ЗАКРЫТО ПО ПРИЧИНЕ ТРАУРА.
ОТКРОЕМСЯ ПОСЛЕ ПОХОРОН»

Хотя горожане уже усвоили, что во время похорон библиотека закрыта, но все равно приходил какой-нибудь разиня, поэтому лучше было предупредить.

Как если бы меня одного не хватало для объединения двух этих миров – кладбища и библиотеки – однажды еще один захотел попробовать, Карлэмилио Джимильяно, легендарно известный педант. Я стоял рядом с могильщиком Марффаро возле могилы, в которую опускали гроб бедняги Марчелло Сориано, вдруг он, запыхавшись, подбегает ко мне сзади и говорит:

– Здравствуйте, Мальинверно!

Я сразу заметил в его руке книгу. Знаком показал ему говорить потише, кивнув на гроб и рыдающих родственников. Карлэмилио перекрестился, подошел вплотную и шепчет мне на ухо:

– Я должен сдать книгу.

Я взглянул на него и понял, что он говорит всерьез.

Я показал ему на гроб, который уже опустили на дно могилы, и посмотрел на него, как бы говоря: «По-вашему, сейчас подходящее время?»

Он снова наклонился ко мне и еще тише произнес: «Через минуту истекает ровно месяц с момента выдачи».

– Зайдите вечером в библиотеку, – прошептал я ему.

Самый близкий друг покойного Марчелло бросил в яму первую горсть земли.

– Не могу. Через пятнадцать минут у меня начинается смена на фабрике.

– Приходите тогда завтра.

Лучше бы я промолчал. Он потемнел в лице и угрожающе

сузил глаза:

– Завтра будет поздно. Немедленно, сейчас! Я не желаю слышать, чтобы про Карлэмилио Джимильяно говорили, будто он необязательный человек!

Говоря это, он сунул мне книгу, перекрестился, повернувшись в сторону священника, и был таков.

Не все были столь скрупулезны, как Джимильяно. Серторио Педаче, например, уже год не возвращал выданную на месяц книгу *«Иллюстрированный справочник дикорастущих съедобных трав и рецепты их приготовления»*, каталожный номер ЧЗ БОТ 01. Я даже не имел права выдавать ему на руки эту книгу, ей можно было пользоваться только в библиотеке, но он меня так умолял, что я сделал исключение: «Самое большее – на пару дней, я верну обязательно, клянусь памятью своего отца». С тех пор я его не видел. Представлял, как он бродит по полям и лесам и сравнивает иллюстрации с живыми растениями.

Пересечься с ним где-нибудь в городе было почти невероятно, поэтому, когда я увидел его на кладбище, я подошел к нему.

– Здравствуйте, Серторио. Как поживаете?

– Пока еще живы, слава богу, – ответил он.

– Давненько мы с вами не виделись, а я все жду, когда вы вернете в библиотеку книгу.

– Какую?

– Книгу про растения, не помните?

Педаче сжал пальцами виски, напрягая память.

– Совершенно верно, вы правы! Как же я совсем забыл!

Но постойте, она у меня в мотокаре, сейчас же принесу.

Я с трудом узнал прошлогоднюю книгу в пучке листов, которые он мне протягивал.

– Сразу видно, что я ею пользовался! – сказал он с удовлетворением.

Обложки не было, первые страницы оборваны, углы внутренних страниц загнуты, изредка вылетала сухая травинка или засушенный цветок вместо закладки, повсюду отпечатки грязных пальцев.

– Поступим так, Серторио: я дарю вам эту книгу, мы успели приобрести новую, – сказал я, солгав.

– Правда? Огромное спасибо, вы не представляете, как она мне нужна.

Он унес ее с собой под мышкой, держа в руке букетик полевых цветов, с которым направлялся к могиле отца. Когда потом в полдень в библиотеке я разорвал формуляр этой книги, мне подумалось, что, в сущности, все то, что дается нам в жизни, дается во временное пользование, что рано или поздно нам всем предстоит вернуть долги, что в действительности нам ничего не принадлежит, что вселенная – это огромная библиотека, где в кредит выдают одиночество, радости, сожаления, – все подробно описанные в учетных карточках, – и где уже заранее известно, что в определенный день все наши чувства, дыхание, вещи отойдут кому-то дру-

гому.

Эмма тоже подчинялась этому природному закону. При жизни она, может, кому-то принадлежала, а может, и никому, только самой себе, но сейчас она была моей. Присоветовал ее мне один знающий мужские нужды библиотекарь.

Как-то утром я пришел повидаться с ней и, взглядевшись в ее лицо, понял, что мне маловато созерцать его только на кладбище. Представил ее фотографию на своей пустой прикроватной тумбочке, и эта мысль мне понравилась до одури. Я не первый и не последний, кому бы хотелось иметь у себя дома такую реликвию. Вдруг я представил себя прозектором парижского морга, который видит улыбку *незнакомки из Сены* и тотчас же велит снять с нее гипсовую маску, чтобы держать ее всегда при себе. Я прочитал об этом в разделе «Интересные истории» в воскресном приложении газеты «Коррьере делла сера». Мне хватило бы иметь при себе ее фотографию.

Я попробовал руками отделить металлическую рамку от памятника, но она не поддавалась. Пошел в подсобку за отверткой. Вставил ее между рамкой и скрепляющим слоем цемента, отделил ее и взял в руки. Секунду надеялся увидеть на обороте то, что так тщательно спрятано от мира – имя, дату, хотя бы инициалы, но вместо этого были лишь кружочки черной бумаги в местах, где фотография была приклеена в альбоме. Я надеялся, но и дрожал, будто имя и фамилия отнимут у меня мою Эмму и все, что я с ней связывал и про-

живал. Под конец я даже испытал облегчение. Положил все в карман и отнес в подсобку.

По дороге встретил приезжего. Обратил на него внимание не потому, что он был не из местных, – таких в Тимпамаре полно, в нашу библиотеку приезжают отовсюду, – а потому, что через плечо его была перекинута большая прямоугольная сумка из черной кожи и вместо букетика цветов он держал в руках блокнот с прицепленной к нему авторучкой.

Вероятно, он впервые попал на наше кладбище, поскольку стоял не двигаясь у ворот и как будто что-то выискивал.

Я подошел к нему: «Добрый день, могу ли я вам чем-нибудь помочь?»

Волосы его были зачесаны назад, приятная наружность, темные глаза. Он улыбнулся: «Благодарю, я справлюсь сам», – и исчез за первыми семейными склепами.

В полдень с фотографией Эммы я отправился к Марфаро. Это была семья потомственных могильщиков в третьем поколении: последний из них, Иеремия, в довершение других бед страдал фобией бедности. Он безрассудно боялся, что люди перестанут умирать и он станет нищим. Это было первое, о чем он мне сказал в первый же день моей работы на кладбище.

– Будем надеяться, что вы мне принесете удачу.

– В каком смысле?

– В том, что вы сирота с малолетства, ну, в общем, будем

надеяться, что это хорошая примета.

– Я по-прежнему не вникаю...

– Пожелаем себе, чтобы люди продолжали умирать, чтобы вы принесли мне удачу, что не наступят противоестественные времена, не будет приостановок, потому что наука в последнее время движется вперед семимильными шагами. Вы разве не читаете газет? Каждый год средний уровень жизни возрастает, вы подумайте, каждый год... Чего хотят все эти врачи Тимпамары, для чего они нужны? Я полагаюсь на вас, Мальинверно, поскольку с вашим предшественником знавал я голодные времена. Конечно, будь у вас горб, оно было бы лучше, чем хромая нога!

Не иначе, это был первородный, генетический страх.

– Увы, на покойниках в Тимпамаре не проживешь. Ненадежный это источник дохода.

Поэтому он годами занимался расширением частного бизнеса: перед его похоронным бюро был выставлен стул с упаковками свежих яиц, на случай праздников он закупил машину по производству сахарной ваты, на Рождество наряжался волынщиком. Но главное, он стал доморощенным типографом и фотографом по вызову на дни рождения и изготовлению фотографий для документов.

Я первый раз входил в его лавку.

– Интересно, что у нас поделывает кладбищенский сторож?

Я вынул из кармана фотографию и положил перед ним.

– Мне нужна с нее копия.

Он взял фотографию, нацепил очки и всмотрелся. Я подумал, что поступил неосмотрительно: он мог ее узнать.

– Кто же эта красавица?

– Мне дали ее на кладбище, родственники, я пообещал, что сделаю копию.

– Приступим к немедленному исполнению.

Он поставил ее на штатив, взял фотоаппарат, сделал три щелчка и вернул мне ее обратно.

– Через пару дней будет готова. Оставим так, как есть, или сделаем художественную?

Вопрос был отнюдь не праздный. Наделенный тонким художественным чутьем, он раскрашивал черно-белые фотографии, отпечатанные в его лаборатории, с тем результатом, что они становились на себя не похожи. На кладбище Тимпамары их было полно. «Покойников надо приукрашивать», что он старательно и делал, иногда чересчур, когда, например, пририсовал черную шевелюру Язону Бонифати, который всю жизнь был плешивым, или уменьшил орлиный нос Роккабернарды: блондины у него получались рыжими, седовласые – жгучими брюнетами, в зависимости от сиюминутного вдохновения он наделял покойников то голубыми глазами, то пухлыми губами, то густыми бровями, то искусственными родинками.

Многим нравились раскрашенные фотографии, они проживали эту искусственную красоту, как ритуал, облегча-

ющий загробную жизнь их родным и близким, наподобие древних египтян, мумифицировавших тела и умащавших их благовониями для облегчения прохода в Аид: эстетическое совершенство было монетой, которой оплачивался переход в вечность.

Эмма останется такой, как была, черно-белой. Я вернулся на кладбище и вернул фотографию на прежнее место.

Ласково прикоснулся к ней и, может быть, оттого что я недавно держал ее в своих руках, уходя, я впервые ее поцеловал.

Я был рожден под влиянием героев Бальзака и назван именем героя любимого Ариосто, посему моя встреча с литературой была предопределена материнскими хромосомами и записана на листках бумаги, которые ветры разносили по всей Тимпамаре, насыщая ее атмосферу ароматами прожитых приключений. Ветры, неминуемые, как судьбы, вращавшие жизни женщин и мужчин, перелистывавшие их, словно страницы книги, питавшие их воображение и фантазию.

Тем, кто, подобно мне, научился любить, читая любовные романы, кто соотносил каждый поступок с прочитанным текстом, кто не знал, где начинаются и заканчиваются границы Тимпамары, но зато знал все про летающий остров Лапута⁴, кто согревался под солнцем Оигии⁵, тем, как и мне, ничего не стоит влюбиться в фотографию с надгробья, в изображение без подписи, вынесенное за текст.

Особенно, если оно напоминает лицо любимой женщины, которая, как и я, была помешана на книгах.

Вскоре Эмма стала центром моей жизни. Мои мысли, по-

⁴ Лапута – вымышленный остров, который Гулливер посетил в своем путешествии, описанном в третьей части «Путешествий Гулливера» Джонатана Свифта.

⁵ Оигия – остров нимфы Калипсо, где влюбленный Одиссей задержался на семь лет (Гомер, «Одиссея»).

ступки и даже сны так или иначе были связаны с ее фотографией. Голые ветви обрастали кристаллами, ибо, как учит Стендаль, любовь – это высшая форма визионерства⁶.

Я настолько уверовал, будто она живая, что разговаривал с ней, пересказывал прочитанные книги, объяснял, из каких литературных источников позаимствованы имена недавно почивших жителей; я уносил ее в свои сны и там целовал, и каждый день своей холостяцкой, лишенной любви и ласки жизни, все больше утверждался в мысли, что если бы мне довелось полюбить женщину, то это, несомненно, была бы она. Чем, по существу, подтверждал, что помимо моих собственных обстоятельств, того, чего я хочу, на этом свете нет.

Я настолько уверовал, что незнакомка – это Эмма Бовари, что однажды утром увидев, как мраморщик устанавливает на чьей-то могиле памятник с высеченными на нем именем и фамилией усопшего, и отметив, что анонимность, похвальная при жизни, после смерти говорит о заброшенности и забвении, взял мелок и под фотографией незнакомки написал: *Эмма Бовари, урожденная Руо*. Ниже, где Флобер написал бы эпитафию: «*Sta viator, amabilem conjugem calcas*»⁷, я начертил:

«Здесь покоится та, кто, задыхаясь от жизни,

⁶ Концепцию «кристаллизации» любви Стендаль изложил в трактате «О любви» (*De l'amour*, 1822).

⁷ «Остановись, прохожий, ты топчешь прах возлюбленной супруги» (лат.).

жила в мире иллюзий».

Я не обольщался насчет долговечности этих букв и взял себе за правило носить в кармане мелок, буду каждый раз их восстанавливать и подновлять, ибо повторение в силах изменить судьбу вещей и историй, рожденных и приуготованных забвению.

С того дня моя Эмма Руо, в замужестве Бовари, прекратила свои блуждания в лимбе не востребованных и забытых душ и перешла в круг сладострастников, не различавших при жизни желания от реальности.

Я обтер руки о брюки – терпеть не мог, когда руки испачканы мелом. Это у меня было всегда, еще со школы: все, что было связано с доской, приводило меня в дрожь, особенно губка для стирания мела, ее царапание по оргалиту при каждом движении, оставлявшем после себя следы – облака меловой пыли, заснеженную ежевику, струйку дыма, как если бы и у стирания была своя грамматика бытия.

Но как всегда, вопреки всем предосторожностям, попадает зловредная крошка мела, забивающаяся под ноготь; я поднял с земли сосновую иглу и попытался ее выковырять, но сообразил, что сперва палец надо намылить и опустить в воду. Когда я вышел на центральную дорожку к воротам, там уже кто-то другой мыл руки в моей воде.

Кладбищу в Тимпамаре принадлежат ключи, рабочие инструменты, груды столетней пыли, засохшие цветы, запах погашенной свечи, шишки с кипарисов и Воскресший, как

горожане прозывают Илию Майера.

Он был немой, как мраморные бюсты на могилах, пренебрегал мирскими делами и шишками, падавшими вокруг него с кипариса, приходил к девяти, садился перед могилой, которую ему вырыли утром в день похорон, и просиживал там до обеда.

Он купил этот небольшой участок земли, единственное свое имущество, ведь даже дом, в котором жил, он на себя не записал, зато эту яму – в первую очередь, она должна была оставаться незакопанной; сам я не видел, но судя по грязи на его ботинках, похоже, он изредка в нее залезал.

История произошла в августе, три года назад: Тимпамару захлестнуло волною жара, прилетевшего с моря, и он накрыл город куполом.

До тех пор Илия Майера славился среди местных своим выдающимся носом, напоминавшим птичье гнездо, горный пик, мыс. Кто потешался над ним, рисковал остаться без зуба, Илия был горяч на руку.

В тот день он окучивал помидоры: было еще совсем рано, а с него градом катил пот, будто его обдали ушатом воды, глаза закрывались, во рту пересохло. Он на минутку остановился и вдруг почувствовал, будто земля с ботинок проникает в его вены, будто он становится негнущимся, как лоза винограда, и острая боль в сердце заставила его согнуться и упасть: это был весь собранный им урожай – срезанная гроздь, упавшая на землю.

К нему сразу же бросились на помощь, но сердце не билось.

Брат стал плакать по нему, как по покойнику. Его перенесли на деревянный стол под навесом, увитым мускатным виноградом, и пока ждали могильщика, священника и доктора, мать отирала влажной салфеткой его лицо от прилипшей земли.

Доктор явился через десять минут и от лица науки констатировал физическую смерть, тогда как дон Паллагорио чадил ладаном, отправляя на упокой загубленную душу. Марфаро побежал печатать объявления, что похороны в связи с жарой состоятся в тот же день после полудня.

Бездыханное тело переложили в открытый гроб и по установленному обычаю перенесли в покойницкую на большой и холодный металлический стол, который был приведен в божеский вид стараниями семнадцатого сторожа кладбища Грациано Меликукка.

Именно на этом столе, после двух с половиной часов непрерывного потока слез его родного брата, покойник пошевелил рукой, чтобы прогнать муху, которая пиновала в раковинах его ушей. Это заметил только его тринадцатилетний племянник по имени Лангедок: он побелел, как атлас, устилавший гроб, перепугался насмерть и стал кричать:

– Он пошевелился, он пошевелился, поднял руку!

Отец прижал его к себе.

– Простите его, он очень любил своего дядю.

– Да нет же, я тебе говорю, он поднял руку, клянусь! – не унимался парнишка, и тогда отец вывел его наружу.

Все присутствовавшие, удивленные словами ребенка, уставились на мертвеца, словно ища подтверждения тщетности своих слез. Каков же был их испуг, когда, не открывая глаза и лежа неподвижно, Илия собирался прогнать другую муху, ползавшую по левой щеке, и вlepил себе звонкую пощечину.

Тетя завизжала, мать с искаженным лицом оцепенела, брат осторожно подошел и подергал покойника за лодыжку. Ответной реакции не последовало.

– Это всего лишь естественная реакция тела, как оторванные лапки лягушек, когда через них пропускают электрический ток, – резюмировал он.

Все боялисьдохнуть и смотрели на гроб в ожидании вещей знаков. Между тем никем не замеченная третья муха проникла ему в левую ноздрю, казавшуюся косогором, и последовал первородный чих:

– Эти сволочные мухи! – сказал мертвец и сел в гробу.

Все возопили, стали прижиматься друг к другу, все были в паническом страхе, пока, наконец, брат не бросился с объятиями к покойнику. Все закричали о чуде и впали в экстаз наподобие Лусии де Сантуш при явлении ей Пречистой Девы.

Весть разнеслась во мгновение ока, все сбегались на кладбище посмотреть на воскресшего, как это было с евангель-

скими прокаженными, с Тавифой Иоппийской, Павлом и Евтихом, Капанеем и Ликургом, Ипполитом и Тиндареем, Гименеем и Главком, сыном Миноса.

Чудо восприняли, как благодать, ниспосланную святым Акарием, и весь вечер Илия был Воскресшим, которого носили по улицам, как статую Мадонны.

Но радость и чествования продолжались всего два дня, пока внезапно не погибла десятилетняя дочь Паскаля Лаганади, упав с обрыва Нивера, где гуляла с собакой.

Оставалась неделя до ее первого причастия: ей купили белое платье, в которое ее обрядили – вместо того, чтобы вкусить плоти Христовой, она стала Его просфорой.

Город переменялся, от абсолютного счастья перешел к безутешной скорби. А когда ее положили в маленький белый гроб, украшенный гирляндами лепестков, казалось, будто она уснула, ибо смерть от перелома основания черепа не оставила на ней заметных следов, все в упор смотрели на маленькую Артемизию в ожидании, что и она с минуты на минуты воскреснет, воскреснет как Илия, ибо, как обычно, одного чуда нам всегда мало.

Отец ждал до последнего, прежде чем закрыть гроб крышкой.

– Она пошевелилась, пошевелилась, вы тоже видели? – вскрикивал он время от времени с глазами, полными слез. – Моя доченька снова пошевелилась, вы видели? Ногой, вы тоже видели? – добавлял он на пределе сил.

Когда подошла пора закрывать гроб, Паскаль бросился к нему и расставил руки: «Умоляю вас, подождите, я видел, как она пошевелилась, моя девочка сейчас поднимется и вернется к своему папе, сердечко мое ненаглядное».

Подергал ее за руку, за ногу, осторожно ущипнул за щеку. Даже Марфаро, повидавшей немало, почувствовал, что у него разрывается сердце.

– Синьор Лагани, больше ждать невозможно... тело начинает... – у него не хватило слов, чтобы закончить фразу.

Отец ничего ему не ответил. Марфаро осмотрелся, пересекся взглядом с братом Паскаля, как бы говоря: надо закапывать.

Его держали втроем, пока Марфаро заколачивал гроб, проклиная, возможно, в первый и единственный раз свое ремесло.

В ту минуту, когда тьма поглотила ангельское личико Артемизии, Илия стал проклятым.

Тимпамаре много времени не потребовалось, чтобы сопоставить два события и прийти к выводу, что воскрешение Майера было вовсе не чудом, а чудовищным ухищрением сатаны, возжелавшего заполучить молодую душу, что противостоит естественное возвращение к жизни сбилось Вселенную со счета, за что и пришлось заплатить: своим воскрешением Илия обрек на смерть ребенка.

Через несколько недель все забыли о Воскресшем, а он забыл обо всем мире, ибо, воскреснув, стал совсем другим че-

ловеком, на себя не похожим: смиренным, пугливым и одиноким – скандалист и задира, он стал тише воды ниже травы. Вероятно, у него были столь ослепляющие видения, что он с тех пор носит черные солнечные очки, отчасти скрасившие его птичий нос; с ними он больше не расставался. Воскреснув, он без малого год разговаривал на чужом языке, и понадобилось немало усилий, чтобы понять, что он произносит слова задом наперед, что точка зрения на мир у него перевернута, он стал живым покойником или покойным живым, понимал язык, на котором говорили остальные, но будучи паладином перевернутой системы, отвечал, будто из зеркала, ровно наоборот. Он становился нормальным, только когда начинал сочинять палиндромы, пока не придумал один, безупречный, который повторял всегда и везде при каждом удобном случае: *Не зело полезен*.

Наконец, спустя ровно год, пропуская мимо ушей даже шуточки по поводу своего носа, Илия Майера лишился дара речи.

Люди, которых я встречаю, когда они выпивают в баре или матерятся за игрою в карты, когда раскрывают книгу или оплакивают покойных друзей, все живут двойной жизнью: той, которая нам дана, которая проходит на виду у окружающего мира и отражается на нашем теле и лице. Другую мы избираем сами, ею живем в одиночестве наедине с собою, она течет у нас в жилах, управляет нашими эмоциями и не выходит из головы. Большинство выбирает первую, пряча другую в непроницаемый черный застенок, подавляет ее, рвет на мелкие куски.

Я же, напротив, предпочел обрамить ею границы своей жизни, позволил ей процветать в своем обличье и, возможно, этим я отличаюсь от других: я смешал воедино то, что другие держат порознь, наподобие мадам Бовари или Дон Кихота, стремившихся навязать свою внутреннюю жизнь времени окружающего их мира.

Одиноким, забытым, укрытым от посторонних взглядов портрет Эммы свидетельствовал о крайности выбора: кто не живет текущим временем, тот в этом мире не жилец. Кажется, она намеренно похоронена на отшибе, в задних рядах кладбища, чтобы никто ее не заметил, чтобы скрыть ее черты от посторонних, и так было всегда, пока однажды, направляясь повидаться с ней перед обедом, я не увидел перед ее

могилой мельника Прόсперо Альтомонте.

Он стоял неподвижно на своих могучих, как платаны, ногах, корявый, как и само дерево, сцепив за спиной руки, и не отрываясь смотрел на фотографию.

Меня пронзила молния ревности. Понадобилось время, чтобы окоротить себя, я не подумал, что лучше было бы скрыться.

Он стоял и не шевелился, уставившись на фотографию. Не знаю почему, я счел необходимым пригладить волосы и отряхнуть брюки от налипшей земли, может, мне показалось недостойным показываться перед соперником в неприглядном виде. Я подхватил очутившуюся под рукой лейку, показавшуюся мне хорошим предлогом, и, поливая растения и цветы на аллее, приблизился к неожиданному визитеру.

– Здравствуйте! – поздоровался с ним.

Он любезно кивнул, но от фотографии не отрывался. Смотрел именно на нее, а то мне было показалось, что это искажение перспективы, но увы, это было не так, он смотрел прямо на нее невыносимо пронзительным взглядом.

Лицо мельника выражало скорбь, что было нормально – неделю назад он похоронил супругу, каждый день приходил, приносил ей цветы, но тут вдруг оказался именно у этой могилы.

Чтобы как-то мотивировать свое присутствие, я принялся чистить соседний памятник, думая, под каким предлогом к нему обратиться. Но в этом не было нужды.

– Печально лежать в могиле без имени, – произнес мельник.

Я подошел к нему и наконец заглянул в глаза Эммы, показавшиеся мне еще более грустными.

– Эта не единственная, таких на кладбище еще шесть.

– Вы их считали?

– Это входит в мою работу. А вы... знаете эту женщину?..

Мельник повернулся к фотографии: «Не знаю, лицо как будто знакомое... В жизни часто встречаешь таких». Потом, словно заметив надпись мелом, говорит внезапно: «Наверное, кто-то ее знал... *Emma Rouault*⁸, – с трудом прочитал он по буквам, – или же это чья-то шутка».

Он распрощался и, понунив голову, ушел.

Я провожал его взглядом, пока он не исчез за углом. В голове моей не укладывалось: мельник в этой отдаленной части кладбища, фотография среди тысяч других и внимание, какого заслуживала лишь недавно усопшая жена...

Я достал мелок и обвел все буквы, но эта операция показалась мне более, чем когда-либо, надуманной.

Прав был Корнелий Бенестаре, когда вразумлял меня, что делать на кладбище, и под конец сказал: мало-помалу сам разберешься. Для меня самого была неожиданностью моя способность принаравливать к обстоятельствам, находить решения трудных вопросов, работать руками, к чему я рань-

⁸ Эмма Рюо.

ше считал себя непригодным.

В тот день я вернулся на кладбище после полудня на похороны Адельки Мандаториччо. Хоронить людей тоже становилось привычным, но в тот день произошло кое-что новенькое. Посредине похорон могильщик Марфаро должен был срочно уйти по неотложным делам, сказав, что пришлет рабочего засыпать могилу.

Но тот не явился.

И я, и родственники бесполезно прождали полчаса.

– И чего теперь? – спросил меня сын.

Все уставились на меня, и мне понадобилось время, чтобы сообразить, чего от меня хотят.

Я вышел на дорожку посмотреть, не идет ли кто-нибудь.

– Становится поздно, – добавил брат.

У меня не могло быть никаких отговорок. Я был сторожем этого кладбища. Поэтому я взял лопату и стал засыпать яму, пока не сравнял с землей. Родственники оставили на свежей могиле принесенные с собою цветы и удалились.

Нога ныла от усталости, я стоял у холмика свежей земли и неожиданно для себя почувствовал, что мне это знакомо, и медленно, шаг за шагом, я постепенно понял, что это не первые мои похороны, в которых я выполнял роль могильщика.

Я был ребенком. И была черепаха, которая укрылась под кустиком травы. Ее не заметил Фракканцио Мартирано, который жал серпом траву и перерезал черепаху надвое – тело отделил от панциря.

Мы жили рядом с кабинетом ветеринара, занимавшегося в ту минуту нашей собачкой, которая не могла разродиться, и вдруг вбегает Фракканцио с чем-то, завернутым в белый носовой платок.

Сцена была душераздирающая: располовиненная черепаха, и первое, что меня поразило, что панцирь растет у нее не отдельно от тела, как мне представлялось, подобно раковинам улиток, опадающим на землю, а составляет с ним единое целое, по нему проходят нервы, пульсирует кровь, он – единое целое с мышцами. Но больше всего меня ужаснуло, что она открывает и закрывает рот в немом, неслышимом крике, пострашнее крика человека или животного.

Едва ветеринар взял ее в руки, он тотчас покачал головой:

– Тут ничего не поделаешь.

– Но животинка страдает, сделайте же что-нибудь! Эту черепаху я подарил дочери на день рождения. Что я теперь ей скажу? Как умертвить черепаху?

– Как любое живое существо, – ответил служитель науки, – добиться остановки сердца.

На деревянном столбе, поддерживавшем навес, висели пеньковые нити, которыми мой отец подвязывал ветки деревьев. Ветеринар снял одну и протянул ее Фракканцио.

– Вы мне даете?.. Нет, никогда и ни за что!

– Тогда передайте ее мне.

Фракканцио в последний раз с грустью посмотрел на черепаху дочери, которой он ничего не скажет, мало ли, чере-

пахи впадают в спячку даже в межсезонье, да так глубоко зарываются под землю, что порой забывают обратный путь. Он медленно передал животинку доктору.

Тот положил ее на руку и обмотал шею нитью.

Мой отец предусмотрительно прикрыл мне глаза ладонью, но заслонка была неплотная, между средним и безымянным пальцем оставался маленький просвет, кожа вокруг него морщилась, получались черные полосы, превращавшие действительность в сон: я видел, как доктор наматывает на шею черепахи веревку, а потом резко дергает концы, рот черепахи остается открытым долгое время, и когда наступают конец, доктор милосердно его закрывает, как закрывают глаза покойнику, словно для того, чтобы смерть была полной, необходимо законопатить все отверстия, а то чего доброго проворная жизнь может одуматься и вернуться.

Когда отец отнял от моих глаз бесполезную руку, Фракканцио Мартирано заворачивал черепаху в белый саван, а доктор, вернувшийся к нашей собачке, которая вяло твякнула, решительным движением извлек из нее щенка, который не дышал; доктор легонько ударил его по груди, и щенок залаял.

Я посмотрел на его руки, которые еще мгновение назад сжали смертельной удавкой шею черепахи, руки, раздававшие жизнь и смерть с интервалом в минуту, и именно их я вижу, когда со всех сторон говорят, что Бог дает жизнь и Бог ее забирает.

Фракканцио положил черепаху в целлофановый пакет, крепко связал концы, но вместо того, чтобы ее похоронить, выкинул, словно огрызок яблока, в заросли кустов.

Я дождался, пока все ушли, и остался один. С помощью садовых ножниц и палки от метлы я достал пакет. Мысль о лежавшем там маленьком тельце угнетала меня. В огороде я выкопал лунку, устелил ее картоном, положил пакет и засыпал землей.

Похороны черепахи были началом длинной череды последующих похорон, включавших в себя захоронение одиннадцати пчел, четырех ос, трех ящериц и скелета четвертой, шести тараканов, одного сверчка, одного мышонка, двух бабочек и бесчисленного количества мух, раненой ласточки, которую я нашел под оливой, она умерла, я не сумел ей помочь. У каждого была могила с крестом. И гробик. Для этого я собирал разного рода емкости – спичечные коробки, высокие банки от анчоусов и круглые от мятной карамели, в которых всегда оставалась крупинка сахара, подслащавшая переход в потусторонний мир, а также банки от тунца, наоборот, его затруднявшие.

Прошла уже не одна неделя, как я стал кладбищенским сторожем, освоился среди крестов и мраморных плит, но только в тот день, стоя перед свежей могилой Адельки, впервые отдал себе отчет в своем, так сказать, призвании к смерти, которое дожидалось лишь подходящего случая, чтобы проявиться во всей своей полноте. Детские воспоминания,

ранняя смерть родителей, моя новая работа – все вращалось вокруг этого финального события моей жизни. Я подумал, что лишь не подвернувшийся случай губит наше призвание, что любой талант может всю жизнь биться как рыба об лед и остаться непризнанным из-за несложившихся обстоятельств. Железо обнаруживает свои свойства, лишь когда к нему подносят магнит.

Уходя с кладбища, я заметил приезжего с большой черной сумкой. Стал невидимо за ним наблюдать. Он останавливался возле разных могил, потом уходил в пустынные закоулки, к тополям в старой части, неподалеку от кладбищенской стены, и там, стоя в узких проходах между семейными склепами, что-то записывал в тетради, потом копался в сумке, переходил к другим могилам, и все начиналось по новой.

Наконец я увидел, что он надел наушники, осмотрелся вокруг, может, слушал музыку, а может, просто хотел отгородиться от мира, от его посторонних шумов, и сосредоточиться на собственных мыслях. Мне показалось, что он – артист, композитор или поэт, ищущий вдохновения в тишине кладбищ, эпигон кладбищенской поэзии в духе Джузеппе Луиджи Пеллегрини, или Аурелио Бérтолы, или Бернардо Лавьозы, и поэтому, несмотря на все мое желание узнать, что он здесь делает, я не стал его беспокоить в минуту вдохновения, тем более что следовало поторапливаться в библиотеку.

Через час появился Марфаро. Поначалу мне было странно видеть его среди томов Платона и Достоевского, но солидарность взяла свое, и он, сам того не осознавая, стал еще одним звеном, связующим два мира, которые постепенно наслиивались друг на друга и совпадали.

– По правде сказать, я ждал вас на кладбище, – сказал я с шутливой укоризной.

– Я как раз пришел извиниться. Мне сказали, что вы справились сами. Меня задержали срочные дела, а куда подевался Парменид, которому я поручил зарыть могилу, ума не могу приложить.

Он осмотрелся вокруг, с большим одобрением кивнул и подошел к письменному столу, за которым я в ту минуту сидел.

– Да, вы тут все здорово обустроили, – сказал он, беря с моего стола том «Симплициссимуса»⁹, который только что сдала Боготá Жищерія.

– Это – в знак извинения.

Он залез в карман пиджака и вынул белый пакетик, который положил передо мной.

Я приоткрыл его и постепенно вытянул фотографию, на-

⁹ «Симплициссимус», или «Похождения Симплициссимуса» (1669) Ганса Якоба Гриммельсгаузена – первый образец немецкого плутовского романа.

подобие того, как поступают картежники в баре, когда достают козырный туз. Я старался сдерживать биение сердца, возмущенное по мере того, как лицо Эммы сантиметр за сантиметром возникало под моими пальцами. Эмоции были столь сильны, что я предпочел отложить фотографию напоследок, когда останусь в полном одиночестве; я положил пакетик в ящик стола.

– Конечно, если бы я приложил свою руку, вышло бы гораздо лучше. Немного бы поддурманивать щеки не повредило, ну, и губы подкрасить. Если хотите, время еще есть.

– Спасибо, Марфаро, не беспокойтесь, родственникам сгодится и так.

Он снова осмотрелся вокруг и стал обследовать помещение: подошел к стеллажам, пощупал их дерево и даже раскрыл несколько книг. С верхнего этажа донеслись голоса.

– Народ, я вижу, заходит...

– Да, порядочно.

Он о чем-то задумался.

– А если, допустим, кто-то захочет купить себе книгу, куда он должен в Тимпамаре идти?

– Никуда, у нас нет книжных магазинов. Кое-что попадается в газетных киосках, но ничего существенного. Ближайшее место – районный центр.

Марфаро что-то замышлял.

– Ну ладно, я пошел... – сказал он, как будто вспомнил о неотложном деле.

– Еще раз спасибо за фотографию.

Марфаро махнул рукой:

– Не за что, не беспокойтесь... это я вам благодарен за то, что зашел сюда.

Я подождал, пока он выйдет, и убедился, что за мной никто не наблюдает, выдвинул ящик и, пряча пакетик под письменным столом, достал из него фотографию. Я поверить не мог, что держу фотографию Эммы, слегка увеличенную по сравнению с той, что на памятнике. Костяшкой пальца, чтобы не оставлять следы на глянце, я обласкал ее черты.

Вечером, перед сном, я взял с комода посеребренную рамку с образом святого Акария, вынул святого и вместо него вставил фотографию Эммы. Получилось прекрасно. Я протер ее бархоткой и поставил на пустую пыльную тумбочку из ДСП, крашенную под орех, тридцать на тридцать сантиметров, пустое пространство которой было, как в периодической таблице, заполнено новым элементом.

И небывалым облегчением.

С ней я не чувствовал себя одиноким.

Утро обещало быть спокойным. Илия пошел со мной в заброшенную часть кладбища, и пока я косил траву, он относил ее в мешки, которые выбрасывал в мусорные ящики сразу за воротами.

Только собрались мы минутку передохнуть, прислонившись к кладбищенской стене, как прибегает задыхающийся

Сакрипант Пьетрафитта со взбешенным выражением лица.

– Вы видели этого приезжего?

Тон его был такой, что Илия с перепугу отшатнулся на несколько метров.

– Вы о ком?

– О том, что шатается здесь какой-то тип с огромной сумкой, бог весть, что он в ней хранит.

– А что случилось?

– Это вы у меня спрашиваете? Вы здесь сторож и должны наблюдать за теми, кто входит, чтобы посторонние нос сюда не совали.

– Но не могу же я запрещать людям ходить на кладбище.

– Вы обязаны! Особенно тем, кто досаждаст чужим покойникам!

– Да скажите же, что случилось?

– Я увидел его перед могилой моей незабвенной матери, напротив ее фотографии, он что-то записывал, а потом поставил на мраморную плиту свою сумку, прямо на мрамор, вы понимаете? Когда увидел, что я приближаюсь, Господь свидетель, у меня, наверное, дым валил из ушей, он собрал свои манатки и убрался восвояси. Я потребовал у него остановиться, но он струхнул и был таков. А теперь будьте любезны объяснить, кто это и что он здесь делает?

– Понятия не имею, о ком вы говорите, – ответил я, солгав, чтобы выгадать время и помочь приезжему скрыться.

– Тогда обойдите кладбище, отыщите его и передайте, что

если еще раз я его увижу у могил моих близких, ему несдобровать!

Когда Сакрипант, выговорившись, удалился, я подумал, что настала пора выяснить тайну приезжего, и вышел к воротам.

Вечером того же дня, когда получил фотографию Эммы, я, обслуживая редких посетителей, успел дочитать повесть Достоевского «Белые ночи». Эта история любви, столь похожая на мою, легла мне камнем на сердце. После закрытия библиотеки я отправился на кладбище с желанием повидаться с Эммой.

День печально угасал. Как молодому Мечтателю после последней встречи с Настенькой, все в Тимпамаре показалось мне постаревшим, обветшалым, негодим: дома с осыпающейся штукатуркой, алебастровые колонны, превращавшиеся в крошку, потемневшие от копоти карнизы.

Ничего не могу поделать с собой, меня привлекают такие ночные и безутешные истории любви, и, идя в одиночестве, я воображал, как изменилась бы моя жизнь, если бы однажды Эмма материализовалась, стала живым и духовно близким мне существом по примеру Настеньки на петербургской набережной, хотя бы всего на четыре ночи.

Если бы так случилось, я любил бы ее, как Мечтатель, понимая неизбежность конца, сопутствующего настоящей любовной страсти, как нечто неизбежное, человеческое, под-

верженное тлению и распаду. Разве в тот вечер на балконе Джульетта не знала о приближающейся трагедии, когда Ромео взбирался наверх? Разве Мечтатель в последнюю ночь, когда Настенька разрыдалась, не понял причину этих слез? И разве не дрожь, не испуг, не предосторожности запомнились, как самые незабываемые мгновения?

Если бы Эмма однажды ступила ногой на территорию Тимпамары, на любую из улиц, напоминающих петербургские набережные, в белую из-за позднего заката ночь, моему сердцу не пришлось бы выбирать. Или же в библиотеке, среди сотен томов разных историй, – наиболее подходящем месте для встречи с призраками.

Она бы вошла сюда в любое время, запросто, как сквозняк под дверью, – одно из тех явлений, на которые вселенная махнула рукой.

Она заходит в то время, когда я читаю. Первое, что я узнаю, это голос. Она здоровается со мной. Я поднимаю глаза, вижу ее и вздрагиваю. Жду, как известия, чего-то, что может последовать, сижу не дыша в ожидании знака, поступающего, наконец, в виде названия книги:

– Я хотела бы взять «Мадам Бовари».

Смотрю на нее и не знаю, что ответить.

– Вчера смотрела фильм по телевизору, хочется прочитать книгу.

Женщина, взыскующая любви, с нетерпением жаждет убедиться, насколько слова этой книги совпадают со страни-

цами дневника, который она пишет каждый вечер и прячет от посторонних глаз.

– Сию минуту.

– А вы что читаете?

Показываю ей обложку.

– Интересно?

– Очень.

– Тогда закончу эту и прочту вашу.

Мне нравится эта фраза, она обещает сближение в будущем. Направляясь к стеллажам с французской литературой и всячески стараясь скрыть свою хромоту, я думал о Шарле.

Если Эмма в начале, в самом начале могла полюбить его, то неужели и я не могу питать хотя бы слабую надежду?

Беру с полки книгу ФЛ ГФ 01 и возвращаюсь назад.

Ловлю ее взгляд на своей увечной ноге.

– Несчастный случай в молодости, – говорю, словно оправдываясь, как если бы хромота вследствие несчастного случая была менее постыдна, чем врожденный порок, с рождения оставляющий метку участия непредвиденных событий в предопределении Вселенной. Неизвестно, что подумала Эмма, когда впервые увидела Ипполита, молодого хромого.

– Это – лучший перевод. Очень важно читать в хорошем переводе, – говорю я, подавая ей книгу.

– Спасибо, – благодарит она и уходит, оставляя после себя словно след видения.

Я продолжал мечтать, воображать, рисовать картины, жить жизнью, которая никогда не произойдет.

Кто знает, осуществится ли это когда-нибудь, думал я, направляясь к могиле номер 1543 после тщетных поисков ведра с водой и мочалкой.

И тут обычное ежедневное занятие, которое повторялось тысячу раз, – созерцание могильной фотографии женщины, порождавшее соответствующие мысли, – стало событийным.

Уже издали, едва свернув на дорожку, ведущую к ней, я увидел, что мир изменился, стал красочным и совершенно земным, – на могиле в стеклянной вазе стоял стебель репейника с фиолетовым цветком. Я не поверил своим глазам.

Цветок на могиле Эммы.

Стеклянную вазу взяли с могилы Арканджелы Лонгобукко, она пустовала годами, как и другие пустые грязные могильные вазы, на которых тяжело смотреть, а тут, благодаря неизвестным рукам, вернулась к своему первоначальному назначению. И это была не единственная новизна, ибо та же рука, поставившая цветок, стерла все надписи мелом: не было больше Эммы Руо, дат ее жизни и смерти и даже трогательной эпитафии. Ничего этого больше не было. Что является наилучшим из доказательств, что цветок предназначался именно ей.

Я заметил в цементе черные нити и представил, как неизвестный вытирает рукавом свитера эти надписи, рукав расплзается, но все бесполезно; ибо как и на черной школьной

доске, на памятнике оставались меловые разводы. И тогда я подумал о ведре, которое не нашел на месте, незнакомец позаимствовал его и мочалкой смыл дочиста все мои надписи. Этот факт как бы вычеркнул на мгновение Эмму из моей головы.

Я стоял перед могилой незнакомой женщины с веткой репейника, кем-то ей принесенной.

Подумал, кто бы это мог быть.

Родственник, приехавший в Тимпамару на несколько дней.

Сердобольная посетительница.

Душа покойной, уставшая от моих литературных паясничаний.

Бывший возлюбленный.

Просперо Альтомонте, мельник.

В первые дни моей работы в новой должности Марфаро не мог нарадоваться – похороны через день.

– Скоро привыкнете, – прошептал он мне на ухо, когда я расчувствовался, слыша безутешный плач вдовы Бруццано Дзефффирио.

Правда это или нет, что есть вещи, к которым невозможно привыкнуть, но то, что я не мог остаться безразличным к кончине Анатолия Корильяно, случившейся ровно через месяц после начала моей работы, это факт.

Я знал, что ему нездоровится, поэтому, когда накануне увидел его в библиотеке, глазам своим не поверил.

Он передвигался с трудом и держался за грудь, словно у него болело сердце.

В последние годы Корильяно, похоже, прочитал всю библиотеку; всеядный читатель, он брал на дом сразу полдесятка книг и через несколько дней возвращал их, чтобы взять новые.

В шестьдесят лет, без жены, без детей, выйдя на пенсию, человек столкнулся с острым чувством несостоятельности – представьте ящерицу без хвоста, сказал он мне – и решил описать историю своей жизни.

Причина, по которой человеку, проработавшему всю жизнь в страховой конторе, хочется сесть и начать писать,

является одним из маленьких и непонятных человеческих чудес, которые случаются ежедневно, но и этим внезапным чудесам необходимы увлеченность, источники, магниты, возможно навеянные школьными воспоминаниями, или прочитанной и запавшей в память страницей, или ростком дерзкой мысли, что и обо мне однажды заговорят, немедленно изгнанной, похороненной и забытой, пока однажды проливной дождь не вынесет ее на поверхность. А поскольку навыками этого искусства Анатолий не обладал, то вполне прагматично решил поучиться в мастерской великих писателей, читал непрерывно, ибо искусство, как известно, не есть импровизация.

Для начала он брал простые, незатейливые книги, затем уровень его запросов постепенно возрастал, пока, наконец, за четыре года до смерти, он не вернулся весьма довольный собой с томами «Поисков» Марселя Пруста:

– Наконец-то, Астольфо, я понял, что делать с оставшимся мне временем. Начиная с сегодняшнего дня мне и читать больше нет надобности, ибо любая другая книга в сравнении с этой покажется околесицей. Меня озарило. Я хотел описать свою жизнь, но не знал, как это делается, не умел выстроить мысли и распределить, что идет вначале, а что после, но сейчас я понял, что могу писать, как заблагорассудится, решения принимаю не я, а моя память, причем произвольно.

Он мне уже как-то рассказывал о своей биографии, может, кое-как уже начал ее писать, но после чтения Пруста он

отдался ей всем телом и душой, как если бы тысячи страниц французского автора стали для него краткой инструкцией по применению, по правде сказать, сложноватой.

Раз в неделю он заходил в библиотеку, приносил с собой листок с многочисленными заметками, брал с полки словарь, находил то, что искал, и вносил поправки. В один из таких визитов в то время, когда я смотрел, как он надписывает сверху мелкими буквами исправления, я подумал, что Анатолий Корильяно мог бы быть реинкарнацией Марселя Пруста: их объединял общий грандиозный замысел произведения и физическое сходство – прямой пробор и слегка опущенные веки.

– Как продвигается книга?

Он отвечал всегда одной и той же загадочной фразой с выражением довольного рыбака, вернувшегося с богатым уловом:

– Утраченное время утрачено не навсегда.

Он умер при следующих обстоятельствах: от уремии в легкой форме. Ему был прописан отдых, и я неделю не видел его в библиотеке.

Он зашел сюда за день до смерти; вид у него был совсем никудышный. В руках он держал пухлую рукопись, навскидку не меньше шестисот страниц, которую не раздумывая положил на мой письменный стол.

– Вы неважно себя чувствуете?

– Не знаю. Еще недавно чувствовал себя хорошо. Как раз

сегодня утром закончил свою историю. Вы позволите мне присесть?

Я поднес ему стул и спросил, не подать ли воды.

– Я пришел за источником. За источником, в котором вода не играет роли.

Он показал на книжные полки:

– Мой источник, «Обретенное время», последняя книга. Принесите ее, будьте добры.

Я подошел к отделу иностранной литературы. Тома «Поисков» были видны издали из-за большого количества и пурпурного переплета из искусственной кожи.

– Я был уверен, что помню наизусть конец этой истории. Наизусть. До сегодняшнего утра. Утром, когда я его повторил, у меня возникло ощущение, что я что-то забыл или перепутал. Я думал, что знаю его наизусть, но эта уверенность вдруг исчезала. Я пообедал вареным картофелем и отправился сюда. Должен признаться, что когда поднимался по лестнице, мне становилось плохо. И пока я сюда добирался, повторяя финал, чтобы понять, в чем ошибка, именно в этот момент я поднял голову вверх и увидел, словно видение, Августину, Августину Кардинале, дочь угольщика. Она появилась у окна ровно в ту минуту, ни секундой раньше, ни секундой позже, а в точности в тот миг, в том же месте и тем же способом, как множество лет назад, когда я впервые увидел ее девушкой, и она показалась мне молодой и красивой, как и тогда; у меня екнуло сердце, и в мгновение я понял, что

люблю ее и любил всегда: достаточно было увидеть ее, почувствовать, как забилося сердце, точь-в-точь, как в тот день, чтобы понять, что я во всем ошибся, что она – недостающая часть моей жизни, которая без нее лишена какого бы то ни было смысла. И как следствие, – добавил он, прикоснувшись к рукописи, – описание моей жизни так же несостоятельно: неумело сфабрикованная попытка, ибо то, что я прочитал, написал и прожил за эти годы, не стоит и мизинца этой женщины, которая мне улыбнулась.

Я подошел к нему с книгой в руке. Похоже, ему все чаще и чаще становилось дурно; он смотрел на обложку, как ребенок на желтую бабочку, которую хочет поймать.

– У меня не хватило смелости признаться ей в любви. Мне казалось, что я некрасив и не подходящая ей пара. Я описал все события по годам, каждый прожитый день, и упустил самое главное – свою глубокую и неосознанную любовь. Много, тут слишком много написано слов. Достаточно было бы одной фразы: «Я люблю Августину».

Кажется, у него закружилась голова, он обхватил ее руками.

– Вам не составит труда прочитать мне только заключительную часть?

Я открыл книгу, а Корильяно закрыл глаза.

– *День, когда я услышал звон колокольчика в саду Комбре...*

– Дальше, начиная со слов: «Я боялся, что прожитые

мною немалые годы...»

Я прочитал весь отрывок до последней фразы: «...*потому что они соприкасаются, словно гиганты, погруженные в годы, в прожитые ими в столь отдаленные эпохи, между которыми столько дней наслось – со Временем*».

Выражение лица у Корильяно было такое, словно он хотел обозвать себя дураком.

– Все помнил досконально – звон колокольчика, металлический крест, гигантов, все, кроме самой важной части – *со Временем*. Из чванства и благодарности я подумывал закончить свою биографию так же, как завершается эта книга, поэтому целыми днями вспоминал финал, но сейчас передумал, то, что я написал, не стоит ни одного моего вздоха, память работает так же, как жизнь, мы забиваем голову кучей бесполезных вещей и опускаем то, что действительно имеет хоть какое-то значение. Я пришел за финалом, но в этой книге его не нашел. Я обнаружил его на улице.

У него вновь закружилась голова. Я представил, как он смотрит в таком головокружении на небесные весы: на одной чаше – его жизнь, на другой – улыбка Августины Кардинале. Он чувствовал, что во всем ошибся, и видел, как вторая чаша неумолимо перевешивает.

Он с трудом поднялся, я поддержал его за руку.

– Это просто от несварения желудка, из-за недоваренной картошки. Ничего страшного, пройдет.

– А ваша рукопись? – сказал я, показывая на сотни стра-

ниц.

Он взглянул на нее холодным, лишенным иллюзий взглядом:

– Чересчур тяжела, чтобы тащить обратно. Да и зачем мне она? Все, что там написано, – вранье. Сделайте одолжение, сожгите ее.

Его нашли у дивана. Мертвым.

Он был мертв. Навсегда? Кто это может сказать с точностью? Ясно, что ни спиритические опыты, ни церковные догматы не доказывают, что душа остается жива. С уверенностью можно сказать только то, что мы пришли в эту жизнь с бременем обязательств, взятых на себя в предыдущей; нет никаких оснований в условиях нашей земной жизни чувствовать своим долгом делать добро, быть вежливыми и даже любезными. Все эти обязанности, не санкционированные текущей жизнью, относятся к другому миру, основанному на доброте, скупуплезности, жертвенности, миру, из которого мы выходим, чтобы родиться на этой земле, прежде чем снова туда вернуться и зажить под властью неведомых законов, которым мы подчинялись, ибо свято носим их в себе, не представляя, кто мог их вам подбросить.

Поэтому мысль, что Корильяно умер не навсегда, не такая уж и неправдоподобная.

Да, мы его похоронили, закопали в землю его тело, но всю ночь накануне на письменном столе библиотеки под светом

настольной лампы, словно ангел, несла всенощное бдение его рукопись, казавшаяся тому, кого уже не было, символом воскрешения. Если бы Анатолий мог действительно восстать во плоти через десять минут после того, как его захоронили, он был бы счастлив, ибо увидел, что последний цветок, упавший на его могильный холмик, самый душистый из цветов, бросила дрожащая рука опечаленной Августины Кардинале, дочери угольщика, которая по непонятным причинам так и не вышла замуж.

Возможно, многие видели, как она опустила цветок, но только я распознал в белой розе символ любви и смертельный упрек.

Она напомнила мне о репейнике, который кто-то принес на могилу Эммы. Я отправился к ней.

Хотя мое предположение о родственнике, оказавшемся проездом на родине после долгих лет эмиграции в Канаде или Аргентине, казалось наиболее вероятным, из головы не выходила мысль о старом возлюбленном, объявившемся спустя годы.

Родственники обычно приносят букет хризантем, а единственный цветок предполагает присутствие кого-то другого.

Это предположение выводило меня напрямик на Просперо Альтомонте, медлительного и немногословного мельника, единственную живую душу, которую я когда-либо видел у этой могилы. Я вспомнил вопрос, который задал ему и на

который не получил ответа: *вы ее знаете?*

С какой вдруг стати Альтомонте приносит ей цветок? Может, она приснилась ему в слезах, всеми забытая, проклятая, захороненная даже без имени, *и ты меня бросил, а ведь клялся, что на всю жизнь?* Тогда получалось, что этот репейник был выражением чувства вины, возникшим, может, после сновидения или старого письма, найденного под завалами мешков с мукою.

Почему именно в тот день, спустя долгие годы?

Представляя Просперо стоящим у ее могилы, я вспомнил одну деталь, важный смысл которой мне открылся только сейчас: пуговица, обшитая черною тканью, в знак траура по жене. И это было доказательство моего предположения: после смерти жены он мог посещать любовницу.

Оставалось понять загадку цветка. Странность его выбора несомненно была чем-то продиктована, чем-то тайным, на чем сходятся любовники, всегда ищущие символы в окружающем мире, и, может, этот колючий цветок представлял в их глазах символ их трудной любви.

Бесспорным остается, что этот цветок непосредственно указывал на любовь, поскольку родственники, даже бедные, никогда не приносят репейник.

Похороны затянулись дольше обычного, поэтому, когда они закончились, я, хромая, помчался в библиотеку, снял с двери табличку и направился к своему столу. Тут я понял,

что спешка моя продиктована другой причиной.

На столе лежала рукопись Анатолия Корильяно. Он распорядился ее сжечь, но некоторые волеизъявления вполне справедливо не принимаются в расчет. Я поступил как Макс Брод и Варий Руф с рукописями Кафки и Вергилия.

Я сел за стол и принялся за чтение. Интересно написано, я бы даже сказал, виртуозно, памятуя, с чего все начиналось. Романизированная автобиография Анатолия Корильяно, начинавшаяся с момента его рождения и заканчивавшаяся за неделю до смерти, была вместе с тем историей Тимпамары, рассказанной с идеальной позиции наблюдателя, служащего единственного в городе страхового агентства. Я многому удивлялся, читая, но пришлось остановиться на третьей главе, так как было время закрываться.

На чистом листке, лежавшем сверху рукописи, я каллиграфическим почерком написал: *Анатолий Корильяно (Марсель Пруст). «Об утраченном навсегда времени». Рукописи не горят.* Внизу приклеил учетный номер ФЛ МП 02 и направился поставить ее на полку французской литературы, на заслуженное место рядом с «Поисками».

Несостоявшаяся любовь Корильяно оставила в моей душе осадок горечи, чувство поражения. У нас были схожие судьбы, Августина или Эмма – разница небольшая, но, в сущности, для нас обоих это был единственный и упущенный случай.

В тот вечер перед сном я долго рассматривал себя в зер-

кале в ванной комнате. Представил, будто Эмма смотрит на меня из-за спины и почувствовал себя не подходящей ей парой: в самом деле, для чего мадам Бовари библиотекарь, закапывающий мертвых. Встреть она меня на улице, наверняка отвела бы взгляд или, что хуже, посмотрела бы на меня и тут же забыла.

В другой раз комплекс неполноценности заставил бы меня опустить голову и отступить, но моя мадам затемнила углы и сгустила тени, поэтому, вопреки привычке принимать душ по утрам, я разделся и стал под воду. Затем вытерся, причесался и вновь посмотрел на себя в зеркало.

Я никогда не нравился себе, особенно сейчас, когда в волосах пробивалась седина, но с виду все было в порядке, и этого было сверхдостаточно. Недоставало только одного.

Я открыл под раковиной шкафчик и вынул обувную коробку, в которой хранил старые щетки, обувной крем, лекарства, срок которых истек в прошлом столетии, и, наконец, нашел то, что я искал. Давнишний дядин подарок на Новый год, все еще в подарочной обертке.

Флакон одеколona «Зеленая сосна» с запахом хвои. Открыл крышку, понюхал и побрызгался.

Оставил одеколон открытым и отправился в кровать. Перед тем, как погасить свет, посмотрел в глаза Эмме, возможно, увидев меня в этом виде, надушенным, она задержит на мне подольше свой взгляд, ибо любовь иногда не обходит даже ее недостойных.

Анатолий мне это доказал.

В тот вечер моя последняя мысль была о нем.

Говорят, что у нас всегда что-то остается от людей, которых мы знали и которых больше нет: в основном, воспоминания, мысли, фотографии, изредка рукописи. Но в ту минуту я чувствовал, что происходит обратное: смерть тех, кого мы знали, уносит и частицу нас.

Грусть, которую я испытал, пока не сомкнулись веки, обострила мое ощущение: Корильяно и его несостоявшаяся любовь укрепили меня в убеждении, что жизненные круги могут замыкаться, подтверждая справедливость того, что человеческие действия обречены на незавершенность.

Первый, кого я решил прикончить, был Пиноккио.

Мои руки открывали дверь библиотеки и ворота кладбища, расставляли книги на полках и венки на могилах, вели учет выданных книг и покойников. Но была и другая причина, моя личная, объединявшая эти миры: безупречными казались мне только книги, завершающиеся смертью героя.

Выбор моего чтения целиком подчинен требованию этого совершенства, я даже завел тетрадь, в которую записываю названия безупречных книг, иногда делая пометки, как и от чего погиб главный герой и другие первостепенные персонажи.

Люди коллекционируют все: кости каракатиц, пряди волос, пожелтевшие листья, провалы и неудачи. Набоков коллекционировал бабочек, Энди Уорхол – засохшую пиццу в коробках, Дэвид Линч – назойливых мух. Мне же нравилось коллекционировать бумажных покойников.

Когда я заканчивал несовершенную книгу, то есть ту, которая не завершалась смертью героя, то испытывал чувство разочарования и неудовлетворенности. Так произошло с историей про Пиноккио.

Превращение полена в живого человека раз и навсегда показало, что финалы, в которых торжествуют мир и гармония, категорически не в моем вкусе.

Я никогда не любил этого буратино.

Когда он сжег себе ногу, я понадеялся, что ему конец, но как всегда не вовремя явилась спасительница Фея с голубыми волосами. Будь по-моему, я бы дал утонуть этому неблагодарному сыну или же бросил его в пасть Акулы.

Потом, спустя годы, я сделал прелюбопытное открытие: Коллоди думал, как я, и в первом издании сказки, выходявшей по частям в журнале, Пиноккио заканчивал свою жизнь на виселице, на ветке дуба, благодаря стараниям Лисы и Кота, и произносил слова, точнее которых трудно придумать: *«Дорогой отец! Был бы ты сейчас здесь... – Ему не хватило дыхания закончить фразу. Глаза его закрылись, рот остался открытым, ноги обвисли и, вздрогнув в предсмертной конвульсии, он отдал концы»*.

Автор потом был вынужден изменить финал, но его изначальным замыслом был жестокий конец как следствие неправильной жизни, ибо неблагодарность – это вина, за которую надо нести наказание, и поэтому Пиноккио умирал, ибо, как известно, мы все отдуваемся за свои прегрешения.

Я не стал сочинять тогда финал со смертью буратино, я это со временем сделаю, но потребность представлять, как умирают литературные персонажи, осталась во мне неизменной и относилась ко всем книгам, прочитанным в те годы: я видел, как мистер Фогг и Паспарту теряются в индийских джунглях, как Белый Клык падает под выстрелами Джима Холла, как обрывается от страха сердце Эбенизера Скруджа,

когда он слушает Рождественского Духа Будущего, Отто Лиденброк и Аксель становятся жертвами взрыва, Алиса засыпает сном, от которого никогда не пробудится.

Мое пристрастие к совершенным финалам связывало неразрывными узами обе мои профессии. Если до сих пор, в свете маминого воспитания, я видел в библиотеке венец призвания и с предвзятостью и сомнениями относился к кладбищенской службе, то вскоре отметил, что и эта работа является закономерным итогом пройденного пути, своего рода предназначением. Мысль, что мне предуготована эта двойная работа, незамедлительно перешла в ощущение, а затем в осознание, что и я являюсь составным элементом законов природы, что я вычислен, проверен и одобрен, поскольку именно этого ищут люди – подходящего для себя места на вселенской шахматной доске.

Часто мы не знаем, почему и когда возникают навязчивые идеи, по какой потаенной причине мысли начинают назойливо вертеться вокруг одного и того же предмета, слова, аромата, воспоминания, события, почему именно вокруг них, а не чего-то другого.

В моем случае, наоборот, нет ничего загадочного: работа на кладбище давала мне постоянно повод осознавать, насколько моя жизнь связана со смертью.

Ибо я от рождения с нею знаком. Она родилась со мной вместе. Она обнимала меня. Она была ребенком-призраком.

Я впервые увидел его, когда гроб моей матери замуровывали в семейном склепе. Шесть погребальных ниш, три справа, три слева, а по центру, под маленьким мраморным алтарем, — усыпальница с прахом моего деда, Мансуэто Мальинверно.

Я стоял рядом с отцом на пороге склепа, наблюдал, как ворочают гроб, чтобы вставить его в нишу, смотрел, как каменщик замешивает раствор и наносит его на края ниши, и мысленно подсчитывал, сколько понадобится кирпичей, чтобы заложить все это пустое пространство; понадобилось семьдесят пять, чтобы замуровать мою маму навечно. И когда закончился счет, я отвел глаза влево и увидел фотографию новорожденного младенца.

Она показалась мне здесь столь неуместной, что я на секунду даже забыл о боли. Посмотрел на каменщика, уже крашивавшего кирпичи, на заплаканное лицо отца, на родственников, собравшихся снаружи, но затем мой взгляд снова вернулся к малышу.

Я хотел спросить, но то, что я видел, было настолько странным, что я испугался и решил, что младенца вижу только я один, что он привиделся мне вследствие скорби по маме и что если я спрошу, папа мне ответит, что там нет никого, и тогда мне стало страшно и я еще сильнее уцепился за его руку. Поднял голову вверх, в небо, и подумал, что сейчас он исчезнет, что его больше нет, но когда опускал глаза, фотография была на месте.

Когда через несколько дней мы с отцом принесли маме букет гвоздик, новорожденный никуда не исчез, и я снова задрожал от страха. Я прижимался к папе все время, пока мы были в склепе, но перед уходом увидел, как он целует мамину фотографию и прикладывает губами к младенцу.

«Значит, это – не призрак», – подумал я и задал отцу вопрос, на который долго не решался:

– Папа, а это кто?

Он как будто вышел из ступора, на секунду замялся, а потом сказал:

– Этого ребенка ты видел, когда еще был малышом, он тебя очень любит.

– Но он же умер?

Отец присел и обнял меня:

– Он – твой ангел-хранитель.

Я подошел к фотографии и внимательно ее рассмотрел. Мне показалось, что я смотрюсь в зеркало, но уже без страха, который был развеян уклончивыми ответами отца. Вблизи я прочитал имя, написанное маленькими буквами: Ноктюрн Мальинверно. Я подумал, что это какой-то кузен.

Подражая отцу, я каждый раз, когда приходил сюда, целовал фотографию младенца.

Потом мой отец неожиданно умер.

Через несколько дней, когда вместе с дядей, братом моего отца, в дом которого я переехал, пришел навестить моих покойников и поцеловал фотографию новорожденного, дя-

дядя вдруг говорит:

– Это твой братик.

Я отшатнулся, как от пощечины. Глядя на меня, дядя понял, что сболтнул лишку.

– Разве тебе не рассказывали?

Я ошолбенело стоял и молчал.

– Ты уже взрослый, Астольфо, по-моему, пора и тебе узнать.

И он рассказал мне всю историю.

Я никогда ее не слышал, в доме об этом не говорили.

Это был мой брат-близнец, родившийся мертвым.

Родившийся раньше меня.

Я подумал о последней ночи, когда уснул возле мамы: двое людей, обнявшись, укладываются спать; утром один просыпается, другая – спит мертвым сном; рождаются двое детей, один кричит и дышит, другой – бездыханно молчит.

Не осталось даже его фотографии: в лихорадке событий о ней никто не подумал. Да и какой бы фотограф согласился снимать мертвого ребенка?

У моего близнеца не было даже имени, когда он родился.

Мама решила, что не имеет смысла давать имя мертвому ребенку:

– Для чего оно ему?

Лучше забыть, ни имени, ни изображения, поскорей стереть из памяти этот кошмар.

Но не тут-то было, нужно было его назвать, чтобы зарегистри-

стрировать в реестре покойников, как будто нельзя умереть анонимно.

Катена не знала, что делать:

– Я придумала только имя Астольфо, какое ему дать имя?

– Безымянное какое-нибудь, – отозвался отец, оплакивавший мертвого сына, – как солнышко, скрывшееся за зонтом.

– Тогда назовем его Ноктюрном, – сказала, всхлипывая, мать.

Когда встал вопрос о его похоронах, когда уже был закончен гробик, могильщик потребовал его фотографию для надгробной плиты.

Родители растерянно посмотрели друг на друга.

– Как можно хоронить без фотографии? Хотите его совершенно забыть? Хотите взять грех на душу?

Это слово, которое обычно произносит священник, подействовало, как звон колокола по покойнику, раздавшийся посреди ночи.

– Что будем делать? Гроб уже закрыт.

В эту минуту, сказал дядя, я заплакал.

– Они же у вас близнецы? – сказал могильщик, которого вдруг осенило.

Катена кивнула.

– Так снимите его, разве они не похожи?

– Окститесь! Это наводит порчу!

– Какую еще порчу?! Гораздо хуже захоронить без фото-

графии. Послушайте меня, я в этих делах понимаю. Снимок живого на могильном памятнике продлевает жизнь, это как увидеть во сне покойника.

Марфара-отец в загробных делах знал толк, решили послушать его.

Меня тотчас отнесли домой, облачили в белую крестильную рубашку, на шею повесили золотую цепочку с блестящим распятием Господа Иисуса Христа, пригладили три волосинки на голове, уложили на диване на простыню, и фотограф сделал снимок.

Так на могильном камне мертвого младенца появилась фотография его живого близнеца, единственного в мире, наверное, кто мог видеть себя мертвым ребенком, единственного, приносившего себе на могилу цветы, напоминая невероятную судьбу Маттии Паскаля.

Это был вещий знак, как будто мне дали гражданство в потустороннем мире.

Все окружавшие меня люди мало-помалу умирали, и в моей детской голове надолго засела мысль, что именно я являюсь причиной их смерти.

Смерть таилась повсюду: в органах, обеспечивающих жизнь, во сне, прибавляющем сил, в дыхании, без которого мы не можем существовать. Даже в пище, которой утоляем голод. Смерть внезапная и заурядная: мать, умирающая во сне, мертворожденный ребенок, отец, поперхнувшийся во время еды.

Он сидел за столом напротив меня с вилкой в руке, речь оборвалась на слове «завтра», он вдохнул и не выдохнул, в гортле застрял комок, глаза закатились.

Я бдел над ним всю ночь, в те минуты он как бы еще не умер, я мог прикоснуться к нему, словно чувства измеряются пространством, словно смерть не есть остановка дыхания или сердца, а только изъятие тела.

Вынул вилку из его окоченевших пальцев, закрыл ему глаза, поцеловал напоследок веки и пошел сообщить людям, что сердце Вито Мальинверно перестало биться.

Я стал сиротой, жизнь моя изменилась, но гораздо сильнее изменились мои отношения со смертью.

Я страдал сильнее, когда не стало мамы, но уход отца был в известном смысле гораздо тяжелей и хуже, и не только потому, что передо мной открылась перспектива одиночества и беспризорности.

У сирот особые отношения со смертью, ибо в последовательной смене поколений – истинной мере нашей смертности, «до» и «после» – покуда есть кто-то, кто готов ради нас принести себя в жертву, мы себя чувствуем в безопасности, как за непробиваемой стеной. Вначале деды, потом родители стояли горой между нами и потусторонним миром.

Мы рождаемся на свет с чувством вечности, ибо и до нас жили смертные люди; потом умирали деды, и это чувство уменьшалось вдвое, но пока у нас было еще прикрытие. Но когда умирает наш последний родитель, когда падает по-

следний бастион, между нами и вечностью никого больше не остается, никаких поколений, никаких изгородей и укрепленных стен. Подошел наш черед.

Если мы отцы, то для нас не является жертвой быть защитой своему потомству, но если мы одиноки, все приобретает другой оттенок.

Смерть матери и отца – первые звоночки нашей смертности. Уход Вито Мальинверно означает, что следующим в роду буду я.

Я был беззащитен, я должен был позаботиться о себе, подумать об укрытии, о непробиваемой стене. И тогда я подумал, что должность кладбищенского сторожа такое же благословение, как и то, что я стал библиотекарем. Соприкосновение, соседство, близость со смертью помогут мне привыкнуть и сродниться с ней.

В точности как косякам кильки, которые принимают форму своего врага в надежде выжить в случае его нападения.

Завотделом мэрии через посыльного просил принести муниципальную Книгу регистрации покойников в связи с при-
бытием инспектора из региональной администрации.

Я вынул Книгу и пробежался по именам упокоившихся жителей Тимпамары, мужчин и женщин во плоти и крови, ставших последовательной записью букв и цифр. Я просматривал их, как будто читая страницы романов, а имена и даты уточнял по словарю литературных персонажей. Этим путем я вышел на нее. Вирджиния Платанія, жена мельника, захороненная в могиле номер 1412.

В ту минуту мне показалось странным, что после визита ее мужа к Эмме я не подумал навестить Вирджинию в поисках следа, который помог бы мне восстановить историю.

Могила находилась в том же секторе, в котором до сих пор зияла пустая могила Илии Майера, который как раз сидел на ее краю, болтая ногами в своей несостоявшейся вечности. Он кивнул мне в знак приветствия.

Если бы возле мраморной стелы Вирджинии Платании я увидел цветок репейника, это развеяло бы все мои сомнения и было бы окончательным доказательством. Но репейника там не было, равно как ни хризантем, ни лилий, зато стоял букетик полевых цветов вперемишку с травинками, собранными, самое позднее, вчера по полудню.

Донна Платания не отличалась красотой, особенно в сравнении с грациозностью Эммы. Рассматривая ее фотографию, я подумал, что не помню ее: она работала медсестрой в соседнем городе да еще помогала на мельнице мужу: иногда, проходя в тех местах, я встречал ее всю в муке. Если внимательно взглядеться в ее фотографию, то кажется, что и блузка ее обсыпана мукой. Есть работы, от следов которых не избавишься вовек. Моя, вероятно, в их числе. В городе рассказывали, что жена Гераклита Ферруццано, пятнадцатого хранителя кладбища в Тимпамаре и предшественника Меликукка, бросила его после двадцати лет брака и стольких же лет работы сторожем, поскольку втемяшила себе в голову, что от него пахнет смертью, хотя он после работы мылся и терся мочалкой с мылом, переодевался и выходил на проветривание. Я бы не смог сказать, есть ли у смерти свой отличный запах; я где-то читал, что если долго и сильно тереть пальцами тыльную сторону руки, то на коже появляется запах, свойственный трупам. Я с недавних пор стал хранителем этой юдоли скорби и еще не чувствовал запаха разложения, раз почувствуете, сказал мне Марфаро, потом вовек не забудете. Путресцин и кадаверин называются эти зловонные субстанции, путресцин и кадаверин, повторил он с гримасой гадливости. Порой, выходя с кладбища, я обнюхивал руку в страхе, что рано или поздно этот запах въестся в меня. Как пыль от мела или как мука.

Я наклонился понюхать букетик. Репейника не было, но

эти же дикорастущие полевые цветы могли быть неопровержимой уликой того, что Просперо сорвал их вместе.

По дороге в покойницкую я подумал, что давно не видел мельника. Несколько раз я даже менял свой обычный маршрут из библиотеки на кладбище, чтобы пройти мимо его дома, расположенного на верхнем этаже мельницы.

Книга регистрации лежала на столике, я перечитал запись Вирджинии Платании и, задерживаясь на пропущенных местах, понял, что это отличный предлог повидаться с мельником в его доме и постараться найти хоть какие-нибудь следы его связи с Эммой.

Поэтому в то утро я вышел с кладбища на полчаса раньше обычного, держа под мышкой регистрационную книгу.

Я вошел в мельницу, но там никого не было.

– Разрешите войти?

Никакого ответа. Я с нерешительностью открыл дверь и, видимо, оказался на складе, где обнаружил мельника; он сидел в старом кресле из выцветшей кожи возле широкого окна со шторами, полы рабочего халата были откинuty в стороны; он спал с закинутой на спинку кресла правой рукой, левую положил на колени. Между креслом и окном стоял деревянный столик, на котором лежал безмен и стояла фарфоровая статуэтка влюбленной парочки, а вокруг валялись мешки из-под муки, разного размера и цвета, похожие на спущенные штаны циклопа: пустые мешки на подлокотниках кресла, старая рыболовная сеть, растянутая по стене, как

занавеска, сломанная лестница, лопаты с черенками, источенными жучком, сита разных размеров и назначения, висевшие на крюке или водруженные на полу, а у его ног, сбоку от столика – полупустой джутовый мешок, складки которого напоминали голову бородатого гиганта.

Я стоял, замерев по двум причинам: чтобы не разбудить его и потому что развернувшаяся перед моими глазами картина напоминала что-то очень знакомое, но что именно, я сразу сообразить не мог.

Решил подождать снаружи, пока он проснется, но ждать довелось недолго, поскольку вскоре примчался запыхавшийся и весь взмокший Ипполит Куринга с пустым мешком для муки.

Он ухватился за веревку колокола и четыре раза оглушительно позвонил, после чего проник на склад.

Я услышал голоса и вошел внутрь. Ипполит держал раскрытый мешок под широкой белой трубой, из которой Просперо, поднимая и опуская рычаг, насыпал муку. Когда мешок наполнился, Ипполит завязал его веревкой, вскинул на плечо и убежал с той же прытью.

Просперо широко зевнул, тыльной стороной руки протер глаза. Взгляд его стал сухим и уклончивым, когда он увидел меня.

Я выставил перед собой Книгу, как щит.

– Простите за вторжение и беспокойство, но у меня неотлагательный вопрос.

– Слушаю вас.

Для своих шестидесяти пяти Просперо Альтомонте выглядел отлично: высокий, крепкий, с сухими чертами лица; ранняя птичка, заядлый охотник и уважаемый всеми кроликовод.

– В Книге регистрации усопших не хватает вашей подписи.

Я собирался открыть свой фолиант, как есть, стоя, но Альтомонте подошел к столу и одним движением смахнул все, что на нем было.

– Кладите ее сюда.

Я колебался, стол был покрыт слоем муки, на черной обложке останутся ее следы.

– Я думал, достаточно моей подписи в мэрии.

– У нас тоже нужно, взгляните, – я показал ему подписи родственников на открытой странице, которые я, направляясь к нему, быстро соорудил.

Он достал авторучку из висевшего на стуле поношенного пиджака, захватил ее всей пятерней, как рукоятку меча, уткнул указательный палец левой руки в нужное место и поставил неразборчивую подпись.

– Готово.

Я закрыл реестр, аккуратно взял его со стола, стараясь не прикасаться к своей коричневой рубашке.

– Извините меня великодушно, я должен сдать его на проверку сегодня.

— Ну что вы, никаких проблем, напротив... — он вышел со склада и вернулся с двухкилограммовым пакетом муки.

— Это вам за беспокойство.

Я был тронут этим жестом и на минуту даже забыл, что он мог быть старым возлюбленным Эммы, мужчиной, обладавшим ею раньше меня, элементом, занявшим мое место в периодической системе человеческих существ и их действий. Мне напомнила об этом природа, когда, распрощавшись, я вышел из дома и направился в мэрию отнести журнал: в заросшем травой огороде за домом я увидел куст репейника и растущие вокруг него полевые цветы.

Колючий.

Приставучий.

Сорняк.

Картина спящего посреди мельничьего барахла Просперо неотступно преследовала меня, как будто я ее уже где-то видел и которую, как ни старался, припомнить не мог. На улице. Дома. Когда собирался на послеобеденную работу. Казалось, вот-вот возникнет, но как бы не так. Надеялся, что это произойдет в библиотеке по принципу совпадения с литературными аналогиями, но однако же нет.

То был день выбора. После обеда я за полчаса закончил «Постороннего» Альбера Камю и, как часто бывало, выбор следующей книги был непростым. Я относился к этому с той же ответственностью, как к чему угодно, даже самому незначительному выбору своей жизни, раздумывая, зайти в кафе и

выпить чашечку кофе или же нет, как если бы это определяло мое будущее. На каждый прочитанный роман приходится по одному непрочитанному и, может, из-за того, что его не выбрали в ту минуту, он будет забыт и никогда не будет прочитан. А между тем это была книга нашей жизни. Мысль, что ею пренебрегли, наполняла простейшее действие – выбор книги – трагическим смыслом.

Наряду с другими книгами я продолжал чтение рукописи Корильяно, она была такого объема, что взять ее домой представлялось затруднительным. В тот полдень я блуждал между стеллажами библиотеки, рассматривая корешки, обложки, названия и пытаюсь определить, которая из них привлечет мое внимание. Я полагался на ощущения. Нужная история в нужный момент. Но разве мы выбираем книги, а не они нас? Почему, к примеру, не так давно я снял с полки «Возчика Геншеля» Гауптмана (учетный номер НЛ ГГ 01), а не «Башню» Гофмансталя (учетный номер НЛ ГГ 02), стоявшую рядом?

В выборе книг происходят порой такие неожиданности, словно они оракулы, читающие в голове и сердце читателя и отдающиеся ему спонтанно, шепча что-то на ухо.

– Ты когда-нибудь слышал голос книг? – спросила меня однажды мама. – Не слова, которые ты читаешь, а именно что голос, звучание бумаги?

Я обалдело на нее посмотрел, я понимал ее литературные галлюцинации, когда персонажи книги становились соседями

ми по дому и наоборот, но чтобы бумага разговаривала, показалось мне слишком. Видимо, она теряла рассудок.

– Надо только дождаться нужного дня, – завершила она.

Этот день наступил через неделю. Дул дикий ветер, испытывавший на крепость каждый листочек. Мама схватила меня за руку, словно мы были друг для друга балластом, и повела меня на перерабатывающий комбинат. Даже если бы я запомнил дорогу туда, то увеличивающееся количество летающих по воздуху страниц говорило, что мы приближаемся к цели.

Отец нас увидел и пошел нам навстречу.

На случай сильного ветра рабочие прикрывали горы бумаги специальной сетью, иначе всю Тимпамару завалило бы ее лавиной.

Отец нам кивнул, и мы последовали за ним. Прошли цех замочки макулатуры, миновали склад готовой продукции и остановились возле небольшого хранилища. По наружной металлической лестнице Вито взобрался на крышу, мы за ним. Поднимаясь, я слышал глухие шорохи, но не представлял, откуда они доносятся. Все стало ясно, когда я поднялся вверх.

Справа, на широкой бетонной плите, служившей перекрытием здания, лежал ряд старых книг, страницы которых изматывал ветер, перекидывая их туда-назад, и они издавали то звук сухих листьев, которые топчет чья-то нога, то стук дождя по оконным стеклам, то треск догорающих поленьев.

Каждый раз новый звук, зависевший от силы ветра и количества перевернутых им страниц.

– Я пошел работать, – сказал отец и спустился по лестнице.

Катена Семинара растянулась на плите рядом с книгами, как когда загорала на пляже, лицо ее закрывали разметавшиеся волосы.

– Ложись рядом, – сказала мама.

Я положил голову на ее вытянутую руку.

– А сейчас закрой глаза и слушай.

Так однажды ветреным днем, благодаря моей матери, я услышал голос книг.

В это место привел ее отец, в качестве подарка ко дню их женитьбы: это было самое ветреное место на всем комбинате, куда он снес старые книги, певшие при малейшем порыве ветра то суровым и величественным голосом Данте, то более нежным Лоренцо Медичи, то злорадным голосом Чекко Анджольери.

– Но ведь этот голос раздается, только когда есть ветер? – спросил я маму по дороге домой.

– Мы ведь тоже, сынок, разговариваем, когда есть собеседник. Будь мы одни, мы бы молчали.

Голоса, разносящиеся по библиотеке, совсем другие, они работают как ультразвук, соблазняя читателя приблизиться.

Мне нравилась мысль, что между книгами и людьми существует связь, что есть замысел, подготовивший и осущес-

стивший их встречу и предусмотревший их близость. Как в моем случае с Эммой.

Следуя закону притяжения, нужные книги в нужный час стали книгами жизни, самыми любимыми и заслуживающими отдельной полки, откуда их легко достать, как капли от сердцебиения.

12

Второй цветок на могиле Эммы.

В стеклянной вазе, рядом с той, в которой стоял первый.

Фиолетовый. Лиловый. Коричневатый. Еще одна ветка репейника, через неделю после первой.

Я заметил его сразу же, едва ступил на тропинку. Не прошло и сорока минут, как я открыл кладбище, значит, его принесли недавно. Я поспешил к входу, рассматривая немногих в этот час посетителей в поисках виновника.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.